



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

WILEY-INTERSCIENCE LIBRARIES



3 3433 06702934 2





Handwritten scribbles or faint markings at the bottom left of the page.

35, 4
Григорій Мачтетъ.

НОВЫЕ РАЗСКАЗЫ.

Первый гонораръ. Боевая ночь.
Черная неблагодарность. Изъ любви. Хроника одного дня.
Новое средство.

Изг. ред. журнала „Русская Мысль.“



МОСКВА.

Типогр. П. Е. Астафьева, Москва. Арбатъ, д. Платонова.

1891.

* QDM
Machtet

Григорій Мачтетъ.

НОВЫЕ РАЗСКАЗЫ.



МОСКВА.

Типографія П. Е. Астафьева. Арбатъ, д. Платонова.

1891.

of
N

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
543088B
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1950 L

DUPLICATE EXCHANGE, LIBRARY OF CONGRESS

ПЕРВЫЙ ГОНОРАРЪ

РАЗСКАЗЪ ПИСАТЕЛЯ.

Мой пріятель былъ человѣкъ съ недюжиннымъ талантомъ. Незадолго до его смерти, — онъ умеръ очень молодымъ, — я навѣстилъ его въ больницѣ... Тамъ, на больничной койкѣ, онъ разсказалъ мнѣ эпизодъ изъ своей жизни, хрипя больною грудью, кашля и задыхаясь... Но блѣдныя щеки его зардѣлись, глаза горѣли хорошимъ, счастливымъ огнемъ. Онъ вспомнилъ и разсказалъ мнѣ единственный, но его словамъ, свѣтлый, дѣйствительно полный глубокаго счастья моментъ, выпавшій на его писательскую долю, и это была его лебединая пѣсня...

Вотъ что разсказалъ мнѣ пріятель.

Было это въ началѣ семидесятыхъ годовъ.. Нечего говорить мнѣ вамъ, что было за время тогда, — сами помните и знаете... Мы не увлекались наживой, не проводили время въ тунеядствѣ, какъ вошло, на примѣръ, въ моду теперь, и не кичились безвѣріемъ. Мы вѣрили въ будущее, въ свой народъ и умѣли

любить его, а это, чуть-ли, не главное. Въ душѣ не было пусто, — тамъ жили свѣтлыя и чистыя идеалы... Царица совѣсть и властно подчиняла себѣ почти всѣхъ... Каждый, казалось, чувствовалъ свой долгъ передъ другими, предъ сѣрой, темной массой „меньшаго брата“; каждый сознавалъ, что обязанъ ей всѣмъ своимъ нравственнымъ „я“, своимъ духовнымъ богатствомъ, превосходствомъ, знаніемъ, и, чувствуя и сознавая — каялся! Это покаяніе влекло къ самоотреченію, толкало на подвигъ и самоотверженіе, звало къ расплатѣ за свой долгъ посвященіемъ себя исключительно однимъ насущнымъ потребностямъ и интересамъ этой массы... Правда, — были, какъ всегда, и другіе элементы, но тогда они прятались или нагло старались попасть въ общій тонъ, лгали ради какихъ нибудь цѣлей, рассчитывая на довѣрчивость юнаго сердца...

Теперь любятъ иногда шипѣть на то время или пустить въ него отточенную зольствомъ шпильку,.. Это бываетъ и удобно, и легко, когда хочешь прикрыть свое паденье, или за душой у тебя ничего ровно нѣтъ... Ну, и говорить объ этомъ, значить, не стоитъ, — правда?! А вотъ что: любятъ иногда увѣрять тоже, будто въ насъ совсѣмъ не было молодости, будто мы были какъ-то не ес-

тественно взвинчены и выглядѣли стариками, а не юношами... Другъ мой, — а я думаю, что именно мы то и умѣли быть молодыми, конечно, оговариваюсь, — смотря по тому, что называть молодостью... Веселья, смѣха, жизни у насъ, конечно, было не меньше, но къ тому же мы такъ любили свою молодость, такъ дорожили ею и своими молодыми силами, что растратить ихъ зря, хотя бы на самые сладкіе пряники, — считали бы грѣхомъ... Да и то сказать, — сладость-то, вѣдь, относительная вещь!... Ну, да, вотъ, — судите сами...

Пріятель заканчялъ отъ волненія и продолжалъ:

Намъ товарищескій кружокъ весь былъ проникнутъ и этой вѣрой и этими идеалами... Мы учились, набирались знаній твердо сознавая, для чего это намъ нужно, и, обладая ясно намѣченной цѣлью, отбрасывали, какъ ненужное, все, что не соответствовало и не служило прямо и непосредственно этой цѣли. Медики, юристы, техники и т. д. и т. д. — всѣ мы думали учиться жить простой, трудовой, мужичьей жизнью, гдѣ, конечно, нѣтъ мѣста роскоши и культурнымъ привычкамъ. Такимъ образомъ, мы отказались отъ посѣщенія театровъ, отрицали занятія художествами, ни чѣмъ не служившими нашей цѣли,

иронизировали надъ поэзіей, пріучали себя къ лишеніямъ и во всемъ себя отказывали... Костюмъ нашъ и общій видъ часто были невозможны съ культурной точки зрѣнія, манеры ужасны,—нѣкоторые изъ насъ, болѣе молодые, правду сказать, даже бравировали подчасъ этою невозможностью манеръ и костюма,—но за то, въ общемъ, мы были честны и искренни... Да, мой другъ!... Мы заслуживали отъ маменькиныхъ сынковъ и кисейныхъ дѣвицъ вличку: „ригористы“, и таковыми мы были на самомъ дѣлѣ... Наша личная жизнь была чиста!... Теперь любятъ подсмѣиваться и надъ нашими пледями, сапогами, нашими рубанками, прическами, ногтями и т. д. и т. д... Теперь, когда все это уже пережито, издали,—оно можетъ быть и кажется отчасти смѣшнымъ,—кто его знаетъ? но тогда... Впрочемъ, нѣтъ, я не то хочу сказать... Я хочу сказать, что подсмѣиваясь, люди забываютъ одно: — искренность, честность и чистоту цѣли...

Я тоже шелъ за всѣми, но, правду сказать, я не былъ цѣленъ... Я исповѣдывалъ то-же, что и мои' друзья, я готовился къ тому же, что и они, но на днѣ моего сундука, окрашеннаго зеленою краской, таились несомнѣнные доказательства немощи плоти... Тамъ таились цѣлыя кипы повѣстей и рома-

новъ, написанныхъ украдкой, ночью, воровски, подъ непреодолимымъ зудомъ писанья, превозмогавшимъ мою волю. Этотъ зудъ или страсть, все равно, — проявился у меня сравнительно рано, и я, признаться, краснѣлъ и стыдился его, казалось, больше всего на свѣтѣ... Товарищи знали, однако, объ этой страсти, но изъ деликатности избѣгали говорить о ней, убѣдившись, какъ это меня злитъ и волнуетъ... Слово „писатель“, по отношенію ко мнѣ, звучало въ моихъ ушахъ одной ядовитѣйшей ироніей и равнялось-бы самому тяжкому оскорбленію... Я былъ увѣренъ, что всѣ эти романы и повѣсти не стоятъ и мѣднаго гроша, — и такъ оно было, конечно, на самомъ дѣлѣ, — но, признаюсь, я страстно и безумно-ревниво любилъ ихъ... Я любилъ каждую страничку, каждый листикъ, каждую строчку, за что, — право, не знаю, — потому что, спрошенный по совѣсти, я долженъ былъ-бы отвѣтить, что всѣ они ничто иное, какъ ребяческій, наивный бредъ... Но я хранилъ ихъ, какъ святыню... И эта святыня была открыта только одному существу — Маненькѣ.

— Право, другъ мой, я не знаю, какъ вамъ нарисовать налу Маненьку, потому что, для обрисовки этого святаго типа, нужны талантъ и краски творца Миньопы и Грет-

хень. Да и тѣхъ хватить-ли еще, — не знаю!.. Потому что у Миньоны и Гретхень не было той широкой и, какъ море, бездонной любви къ міру и людямъ, не было того самоотреченья во имя другихъ, совершенно чужихъ, не было способности на самый строгій подвигъ во имя отвлеченнаго, исповѣдуемаго идеала... И, если хотите, не было той простоты... Тамъ, кажется, была скорѣе наивность, чѣмъ простота, и, во всякомъ случаѣ, какая-то наивная простота, чѣмъ братская, умная, естественная простота Машеньки, лишенная всякаго эффекта и картинности, вытекающая изъ одной вѣры и любви къ людямъ, изъ дѣйствительнаго самоотреченія. У Машеньки „себя“, если такъ можно выразиться, не было. Вся она и все въ ней было для другихъ... Два бога было въ ея культѣ: деревня, для которой она слухала акушерскіе курсы, чтобы затѣмъ расплыться въ ея сѣрой массѣ, и „несчастные“ — нуждавшіеся въ помощи, для которыхъ она несла все, что могли добыть ея крошечныя ручки... Даже мы, „ригористы“, звали ее подвижницей и монашкой...

— Вы знаете, — у меня ужъ такъ устроена голова, что я люблю думать аналогіями и сравненіями... Представьте себѣ ненастье, мрачное осеннее ненастье, пронизывающую

слякоть, промзглый туманъ, удушливый и тяжелый, заволонувшій все окрестъ до тошноты. И представьте себѣ, что все это вдругъ исчезло, смѣнилось яркой весенней картиной. Сквозь тучи прорвалось голубое небо и жаркое солнце, туманъ исчезъ, все окрестъ зазеленѣло, благодатное тепло замѣнило сырость и холодъ... И вы получите представленіе о томъ, что дѣлало въ нашей средѣ появленіе Машеньки... Строгая и ласковая, кроткая и смѣлая, тщедушная и сильная волей, энергій, выносливостью, — она была нашей совѣстью, горячей искрой, что не разъ поддерживала тлѣвшее въ нашихъ сердцахъ чистое пламя. Предъ ней нельзя было никому лгать, ломаться, кокетничать, — одинъ взглядъ ея добрыхъ, чудныхъ глазъ разсѣвалъ, какъ дымъ, всякую неправду...

Маленькая, худенькая, тщедушная на видъ, брюнетка, — она являлась живой загадкой: гдѣ, какимъ образомъ въ такомъ маленькомъ тѣлѣ могла сосредоточиваться такая великая нравственная сила. Семнадцати-лѣтней дѣвушкой, потерявшей мать, загнанную въ гробъ мужемъ, она замѣнила ее для своихъ меньшихъ сестеръ, которыя такъ и звали ее „мамой“, воспитала, выучила и даже умѣла сдерживать буйнаго отца, который, какъ-то неволью, ей подчинялся. Вѣчная хлопотунья - работница,

она никогда, казалось, не знала усталости, грусти, хандры и управляла домою, никогда не поднимая даже голоса. Все какъ-то ее слушалось и подчинялось само собою, безъ принужденія, — все относилось къ ней любовно и съ невольнымъ уваженіемъ...

Только одна Ѳекла кухарка позволяла было себѣ ворчать на своего „ангела-барышню“ за то, что та, какъ будто, совсѣмъ „и не барышня“, о себѣ совсѣмъ не заботится за младшими сестрами и, „точно старуха какая“, — о женихахъ и гадать не хочетъ...

— Ровно-бы вы ужъ и не невѣста, барышня! — ворчала Ѳекла. — Ровно-бы, молю, хуже другихъ... Совсѣмъ какъ есть напротивъ... Жениховъ-то отбою не было-бы, кабы вы только не сурьезничали да въ старухи не на ровили...

Но Машенька только улыбалась въ отвѣтъ, — такія мысли, казалось, совсѣмъ не укладывались въ ея красивой головкѣ. Такія мысли и у насъ не укладывались... Машенька — невѣста, Машенька — предметъ страстной любви — казалось абсурдомъ. Она могла быть сестрой, „мамой“, свѣточемъ, совѣстью, — но невѣстой!... Она!? Монашка!? Нѣтъ, — намъ это тоже не приходило въ голову. За своей любовью всѣхъ, за своими цѣлями и культомъ она не оставляла себѣ самой ничего, чего-бы,

казалось, хотѣла и желала, ничего личного и теряла, такимъ образомъ, всѣ свойства и характеръ „личности“. Въ глазахъ каждаго она являлась скорѣе живымъ образомъ нравственной красоты, чѣмъ женщиной.

Потерявъ отца и получивъ свое наслѣдство, когда ей было уже около 23 лѣтъ, она всѣ свои 5 тысячъ отдала другимъ, вѣря, что эти деньги пойдутъ на доброе дѣло... Сама она, — ея сестры были уже пристроены, — сама она поселилась въ мансардѣ, стала ходить на курсы, а хлѣбъ и чухонское масло — потому что ничего другаго у нея никогда не было — она зарабатывала иглой и грошовымъ урокомъ. Все, что оставалось отъ хлѣба и масла и, вышнаго и рѣдкаго баловства — „чая, — она несла другимъ, своимъ „несчастливымъ“... Но, что всего страннѣе, этотъ хлѣбъ и масло, эти скуные настои чая съ ней дѣлили и другіе, ихъ доставало и на тѣхъ, кто заходилъ къ ней голоднымъ... Какъ она это умѣла дѣлать, — оставалось ея секретомъ...

Я и теперь еще помню, какъ она въ своей крошечной свѣтелѣ, глядѣвшей такъ мило и уютно, сама крошечная, одѣтая въ свое вѣчно одно и тоже и вѣчно чистенькое сѣрое платье, любовно и мягко встрѣчала меня и другихъ вопросомъ: — „ужъ навѣрное голодны, ужъ правда голодны!“ — и, бросая иглу или

книгу, указывала намъ на хлѣбъ и масло... Я всегда отвѣчала „да“, подходилъ къ ея столу и вытаскивалъ изъ кармана то купленные по дорогѣ яйца, то кусокъ колбасы или что нибудь другое, и Машенька сейчасъ-же начинала укоризненно качать головой.

— Ахъ, буржуа, ахъ, буржуа! — Ахъ, какой вы буржуа, Павелъ! — приговаривала она, глядя на меня не то съ улыбкой, не то съ мягкимъ укоромъ. — Не можетъ безъ лакомствъ! Ужъ не хотите-ли еще сигару и кофе?!

Сигара и кофе! Это былъ мой грѣхъ, моя ахиллесова пята, моя слабость, съ которой я часто тщетно боролся и за которую Машенька и прозвала меня далеко нелестнымъ эпитетомъ „буржуа“. Сигара и кофе значили: сластолюбіе, чревоугодничество, преступное баловство, котораго не знаетъ народъ — и потому я былъ „буржуа“... Въ то время, это было очень обидное слово... Но въ устахъ Машеньки оно не звучало обидой... Глубокой лаской свѣтились ея глаза, немного насмѣшливой или, скорѣй, смѣющейся лаской, и въ тонѣ ея голоса слышался тотъ матерински-нѣжный укоръ, съ которымъ мать шутя говоритъ шалуну сыну: „ахъ, какой ты драчунъ!“ Разъ даже, когда я провалялся двое сутокъ больной, слегка простудившись, и товарищи, сложивши послѣдніе гроши, балорали

меня клюквеннымъ морсомъ, Машенька сама принесла мнѣ копѣчную сигару.

— На-те ужъ, курите!.. Только выздоравливайте скорѣе, буржуа! — говорила она, хмурия брови и стараясь быть суровой, но тутъ-же улыбнулась, когда я съ нѣгой закурилъ свое „преступное баловство“.

— Ахъ, какой вы буржуа!.. Сейчасъ и просіялъ весь!..

Признаться, я любилъ это „буржуа“ и даже порою нарочно на него набивался... Это слово какъ-то невольнo выдѣляло меня изъ общей среды ея друзей, дѣлало меня не „всеми“, а „однимъ“, а съ другой стороны — тонъ, которымъ она произносила свое ворчливое „буржуа“, ясно свидѣтельствовалъ, что, не смотря ни на что, Машенька относится ко мнѣ и тепло и любовно... Я даже любилъ ее поддразнивать своей „буржуазностью“ и пользовался для этого каждымъ случаемъ... Тащимся мы, бывало, съ Петербургской стороны и я непременно нарочно посажу ее на извощика, ставя ребромъ послѣдній пятиалтынный. Машенька ворчитъ на этотъ самый страшный буржуазный грѣхъ („Господи, — да вы съума сошли?! Кататься на извощикахъ!“) — но садится, потому что я увѣрю ее, что уѣду одинъ, — все, молъ, равно погибнетъ пятиалтынный... Садится, ворчитъ, сто разъ повто-

ряетъ свое „ахъ, буржуа“, увѣряетъ, что это въ послѣдній разъ она согласилась, что она сойдетъ и т. д., а я напущу на себя угрюмый видъ и начну ее упрекать, что она меня разоряетъ...

— Я васъ разоряю?!

Машенька вздрогнетъ, поблѣднѣетъ и въ испугѣ останавливаетъ на мнѣ въ упоръ свои темные, честные глаза...

— Я васъ разоряю, Павелъ!?

— Ну, да, конечно, разоряете!—ворчу я, чуть сдерживая хохоть. — Сегодня извоцикъ, на дняхъ ветчины фунтъ... Тамъ, если помните, молоко...

— Да развѣ я васъ не браню сама за это?!

Но тутъ я не выдерживаю и начинаю хохотать... Машенька соображаетъ, наконецъ, въ чемъ дѣло, и тоже смѣется...

— Ахъ, вы, буржуа!.. Настоящій буржуа!.. Самъ-же франтить, а послѣ еще и попрекаетъ другихъ!.. Ну, какъ-же не буржуа!...

Такъ вотъ, только Машенькѣ отерывалъ я свою святыню... Она терпѣливо и съ интересомъ слушала мои романы,—ея одной я не стыдился. По цѣлымъ часамъ читалъ я ей эти толстыя тетради и часто она вмѣшивалась въ дѣйствіе, страстно моля жошадить понравившуюся ей героиню, которую авторъ приводилъ къ трагическому концу, или наказать,

непремѣнно наказать злодѣя, который въ повѣсти оставался торжествующимъ... Я спорилъ, горячо спорилъ, но, правду сказать, всегда передѣлывалъ такъ, какъ хотѣлось Машенькѣ... И, право, всегда вещь становилась лучше отъ этихъ исправленій, — на сторонѣ Машенькинаго чутья всегда оказывалась правда... Одному только я не могъ и не хотѣлъ вѣрить—ея увѣренія, что у меня есть про- блески дѣйствительнаго таланта. Я краснѣлъ, пачиналъ волноваться и даже сердиться.

— Да, да,—настаивала Машенька. — Конечно, все это еще не обработано, растянуто, но, все-таки, хорошо... Вы должны беречь себя, Павелъ... Право, вы будете писателемъ...

— Что вы, Машенька, что вы! — конфузился я.—Какой я писатель?! Это все такъ себѣ... Я и не думаю быть писателемъ,—вы знаете, я хочу...

Но Машенька настаивала на своемъ.

— Спросите другихъ, если не вѣрите мнѣ... Отчего вы не снесете что нибудь въ редакцію?!

Тутъ я вскакивалъ.

— Въ редакцію!? Я!?. Да что вы, Машенька!.. Развѣ такія вещи могутъ напечатать!..

— А отчего-же не могут!? Печатаютъ вещи гораздо хуже... Попробуйте снести въ редакцію!..

Но я даже и думать не могъ объ этомъ, я только краснѣлъ, ибо, казалось, совсѣмъ не вѣрилъ въ себя... Быть „писателемъ“, „печататься“ — казалось мнѣ тогда чѣмъ-то такимъ великимъ и недостижимымъ, что всѣ настаиванья и увѣренья Маленьки не приводили ни къ чему.

Такъ тянулось дѣло, пока я не написалъ рассказъ, который, я знаю, нравится вамъ и который, напечатанный въ числѣ другихъ, далъ мнѣ имя... Какъ я его написалъ, какъ все это у меня вышло, — я и теперь не могу дать себѣ яснаго отчета... Помню только, что состояніе мое тогда было особенное, совсѣмъ иное, чѣмъ когда я сочинялъ свои романы... Я возвращался къ себѣ на закатѣ, и всю дорогу меня преслѣдовали какъ-бы внезапно откуда-то взявшіеся образы... Сначала они были неясны, затѣмъ становились все яснѣе и яснѣе, все болѣе властно подчиняли себѣ мои мысли, наконецъ, встали предо мною до того ясно, что изъ-за нихъ я ничего не видѣлъ, не слышалъ, не понималъ и, всецѣло поглощенный ими, все ускоряя и ускоряя шаги, летѣлъ въ себѣ, какъ сумасшедшій... Помнится, по тѣлу пробѣгалъ у меня какой-то странный холодъ,

похожій на ознобъ, иногда нервно стучали зубы... Придя къ себѣ, я поспѣшно зажегъ лампу дрожавшими руками и сѣлъ писать... Что я писалъ, какъ писалъ, — я не знаю, или не помню... Право, мнѣ кажется теперь, что я писалъ безсознательно, что рука двигалась сама собою, помимо моей личной воли, какъ сами собою текли мои мысли, лились слова, цѣпляясь сами собою одно за другое, и вставали картина за картиной. Помню только, что иногда я вскакивалъ, весь дрожа, нервно дѣлать нѣсколько шаговъ по горенкѣ, вновь садился, точно въ какомъ-то чаду, и все время бурилъ и бурилъ, бросая окурокъ за окурокъ... Иногда я останавливался, потому что меня пронималъ все тотъ-же странный ознобъ, и рука моя дрожала тогда, какъ въ лихорадкѣ... Я не зналъ времени, я совсѣмъ не сознавалъ, гдѣ я...

Когда я кончилъ, на дворѣ стоялъ уже ясный разсвѣтъ... Ни сна, ни малѣйшаго утомленія я не чувствовалъ... Напротивъ, я чувствовалъ себя необычайно легко и счастливо...

Я чувствовалъ себя такъ, точно съ груди моей сватилась вдругъ стопудовая гиря... И еще одно помню: — я вдругъ потерялъ свой стыдъ!.. Да, этой новой своей вещи я почему-то уже не стыдился!.. Мнѣ казалось, что

я способенъ былъ выйти съ нею на улицу и прочесть ее встрѣчнымъ, не стыдась и не краснѣя.?. Приди ко мнѣ всѣ мои друзья, я навѣрное сказалъ-бы имъ:—вотъ что я написалъ!—и прочесть-бы вслухъ. Было-ли это магическое дѣйствіе дѣйствительнаго вдохновенія или что другое,— не знаю, но такое странное явленіе—было фактъ.

Я легъ, не раздѣваясь, но не спалъ, потому что сонъ не приходилъ, потому что все еще меня продолжало какъ-то странно знобить. Лежа, я курилъ и рука моя, державшая папиросу, все еще дрожала и дрожала... Наконецъ, я, какъ-то незамѣтно, заснулъ и проснулся только въ вечеру...

Я взялъ рукопись и пошелъ съ ней прямо къ Машенькѣ. У меня вдругъ почему-то проснулась neodолимая, совершенно новая потребность огласить написанное, подѣлиться имъ съ другими, и эта потребность заглушала собою прежнюю застѣнчивость... У Машеньки я засталъ цѣлую толпу нашихъ друзей, но я, право, не сконфузился, не растерялся, а сказалъ очень просто и спокойно:

— Я написалъ, господа, одну вещьцу... хотите прослушать?..

Всѣ переглянулись недоумѣвающе и удивленно. Машенька даже раскрыла широко свои

глазки, но я не обратилъ на это никакого вниманія.

— Да, господа?

— Конечно, конечно!—отозвались всѣ хоромъ, все еще точно не вѣря своимъ ушамъ, но я разворачивалъ свою рукопись, даже не дождавшись этого „конечно“.

Я покраснѣлъ и немного сконфузился только вначалѣ... Затѣмъ я какъ-будто овладѣлъ собою и весь вошелъ въ чтеніе, въ свой рассказъ... Я немного спѣшилъ, но читалъ все свободнѣе и свободнѣе, всецѣло забывая о другихъ... Не знаю, понималъ-ли, сознавалъ-ли я самъ, что читалъ... Можетъ быть—нѣтъ... Кажется, я только слышалъ свое чтеніе, слышалъ однимъ слухомъ, но сердце мое стучало особенно сильно,—это я помню... Наконецъ, передъ глазами мелькнула послѣдняя строчка, и я вновь почувствовалъ, какъ съ плечъ моихъ скатилась свинцовая гиря.

Кругомъ царила мертвая тишина. Ни звука, ни движенія... Я поднялъ глаза на Машеньку,—она сидѣла, точно окаменѣвъ, и по щекамъ ея текли крупныя слезы... Я обвелъ глазами всѣхъ,—всѣ лица были блѣдны, всѣ глаза уставились на меня съ какимъ-то изумленіемъ. Мое сердце какъ-то странно забилося и вдругъ я почувствовалъ, что задыхаюсь и

блѣднѣю... Это было, другъ мой, — торже-
ство!..

— Павелъ!.. Да ты, братъ, талантъ! —
крикнуло два, три, пять, сотни, казалось,
голосовъ разомъ, но я уже вскочилъ, бросилъ
рукопись, вспыхнулъ вновь, задрожалъ и, какъ
съумасшедшій, самъ не зная зачѣмъ, бросился
вонъ... Я бѣжалъ, задыхался, останавливался
и снова бѣжалъ...

На другой день утромъ ко мнѣ явилась Ма-
шенька и объявила, что снесла рукопись въ
редакцію „Отечественныхъ Записокъ“ и что
за отвѣтомъ мнѣ сказано придти черезъ не-
дѣлю... Я принялъ это извѣстіе очень спо-
койно, точно иначе и быть не могло, и, по-
мню, самъ удивлялся этому спокойствію...
Но зачѣмъ?!.. Эта жестокая, ужасная недѣ-
ля!.. О, еслибы редакторы-издатели журналовъ
сами были писателями, — они, навѣрное, мягче
обращались бы съ начинающими, переживаю-
щими эти ужасныя „первыя недѣли“ и робко,
чуть дыша, еле чувствуя подъ собою землю,
спѣшащими къ нимъ за роковымъ отвѣтомъ...
Дней недѣли, я не помню, — ихъ, кажется,
совсѣмъ у меня и не было, — была одна то-
мительная, долгая пытка ожиданія... Иногда
я гадалъ, что дѣлается въ данный моментъ
съ моей рукописью, иногда горѣлъ полной
увѣренностью, то вдругъ терять всякую на-

дежду и мучился отчаяніемъ... Иногда мнѣ казалось, что подо мною протянуты громадныя вѣсы, что я стою на одной чашкѣ, что на другую кладутъ гири, чтобы взвѣсить мое „я“ и опредѣлить роковымъ образомъ его будущее... Вы сами пишете, сами начинали, ну, и сами, значить, знаете, что это за пытка...

Но было еще нѣчто, что меня и смущало и приводило почти въ трепеть, нѣчто, чего вы совсѣмъ не знали, такъ какъ начали писать сравнительно недавно. Я зналъ, что черезъ нѣсколько дней я буду стоять лицомъ къ лицу съ тѣмъ, при одномъ имени кого склонялись наши молодья головы, буду говорить съ тѣмъ, предъ окнами кого мы выстаивали иногда цѣлые часы, чтобы уловить его выходъ на улицу или хоть одинъ силуэтъ за стекломъ оконной рамы... Вы догадались, конечно, что я говорю о покойномъ Некрасовѣ, и понимаете мои чувства и состояніе.

И этотъ роковой день, наконецъ, пришелъ... Какъ подошелъ я къ дому на Бассейной — все равно, — но, входя, я почувствовалъ, что блѣднѣю все больше и больше, что земля какъ будто ухлываетъ подъ моими ногами. Бородатый лакей спросилъ мое имя, — я выговорилъ съ трудомъ и черезъ минуту стоялъ лицомъ къ лицу съ поэтомъ.

Было еще очень рано, и въ редакціонной комнатѣ, наполовину занятой билліардомъ, никого, даже секретаря, кромѣ насъ двоихъ, не было. Неурасовъ взглянулъ на меня бокомъ, какъ-то изъ подлобья и точно пронизалъ этимъ взглядомъ.

— Я прочиталъ вашу вещь, и мы ее напечааемъ! — глухо проговорилъ онъ прямо въ упоръ, не спуская съ меня пронизывающаго взгляда. — Радъ васъ видѣть!..

Я почувствовалъ, какъ цѣлымъ потокомъ хлынула вся кровь мнѣ въ голову, какъ застлись мои блѣдныя щеки...

— Садитесь... Давно начали писать!

Я сказалъ... Онъ спросилъ меня обо многомъ, и, когда я кончилъ, онъ насупился и заходилъ по комнатѣ, заложивъ руки.

— Конечно, не мнѣ отрывать васъ отъ того, куда влечетъ васъ сердце, — началъ онъ сурово и хмуро, какъ-бы ища словъ, — но я, все-таки, скажу вамъ: берегите себя... Изъ васъ можетъ выработаться писатель...

Онъ остановился и посмотрѣлъ на меня пристально и прямо, и я точно окаменѣлъ отъ этихъ словъ и взгляда.

— Я не скажу теперь, что вы — талантъ, — продолжалъ онъ, стоя, — потому что у насъ опредѣлить это трудно... Нашихъ писателей часто хватаетъ только на одну или двѣ вещи...

Странно это,—но это такъ... Вонъ, хоть Куцевскій: написалъ одну очень хорошую вещь, а дальше и ничего!... Судьба ужъ видно у насъ такая... Но, все-таки, повторяю вамъ: изъ васъ можетъ выработаться писатель и вы поберегите себя... У васъ есть чувство, вы умѣете любить и...—онъ улыбнулся.

— И кусаться!—добавилъ онъ, все также улыбаясь, причеъ его глаза сверкнули мнѣ изъ подъ сдвинутыхъ бровей ласковой и мягкой улыбкой.

А я сидѣлъ и не вѣрилъ, казалось, самому себѣ, своему счастью,—не вѣрилъ:—мои ли уши слышать, мои ли глаза видятъ... Но я не спалъ, не грезилъ,—великій поэтъ, разбудившій наши сердца и затеплившій въ нихъ святаы искры любви и вѣры,—дѣйствительно предо мной,—и вы сами поймите мое состояніе... Другъ мой,—про насъ говорятъ, что мы вообще отрицали авторитеты... Я, конечно, не хочу спорить, но я все таки сдѣлаю малую оговорку... Что бы тамъ ни говорили, своихъ великихъ людей мы умѣли цѣнить, мы умѣли быть благодарными и въ грязь ихъ не топтали... Тѣхъ, что учили насъ любить и мыслить мы ставили такъ высоко, какъ имъ, конечно, никогда и не снилось, а пыль, пристававшую къ ихъ подошвамъ,—потому что они, какъ и всѣ, ходили по землѣ,—мы умѣ-

ли отдѣлять отъ ихъ свѣтлаго духовнаго образа... И потому, пока говоритъ Некрасовъ я только слухомъ, казалось, ловить его слова... Внутри копошилась такая масса смѣшанныхъ чувствъ восторга, благодарности и любви къ родному поэту, такъ рвались они наружу, такъ много хотѣлось сказать устами, скованнымъ такой массой, что я только то блѣднѣлъ, то краснѣлъ... А онъ все говорилъ; говорилъ о значеніи литературы; о долгѣ писателя... о... ну, да о многомъ...

Когда я всталъ, онъ, не выпуская моей руки, спросилъ меня уже совсѣмъ мягко и просто:

— Вамъ нужны деньги?

Вмѣсто отвѣта, я вспыхнулъ.

— Ну, да, конечно!—продолжалъ Некрасовъ, улыбаясь.—Я заплачу вамъ на первый разъ по 75 руб. за листъ,—подождите...

Онъ вышелъ въ сосѣднюю комнату и вынесъ сторублевую бумажку.

— Вотъ вамъ пока за листъ... У васъ нѣтъ сдачи?

— Нѣтъ!... улыбнулся и я на его улыбку.

— Тѣмъ лучше... Возьмите всѣ... Тамъ уже сочтемся!...

Теперь вы и сами нарисуете себѣ мое состояніе, то счастливое, безпредѣльно-счастливое состояніе, какое рѣдко повторяется въ

жизни... Голова у меня кружилась, сердце билось учащенно, я куда-то шель, все еще судорожно сжимая въ рукѣ первую собственную радужную бумажку, а въ груди у меня царилъ какой-то необъятно-счастливый покой, безмятежность, лишенная всякихъ тревогъ и сомнѣній... Я все шель и что-то насвистывалъ, какъ молодой щегленокъ, когда солнце, прорвавшись сквозь нависшія сѣрыя тучи, оживить все окрестъ своими свѣтлыми, благодатными лучами... Я не думалъ, ровно ничего не думалъ, а все только шель и шель... Да и что могъ-бы я думать?! Если-бы мнѣ протянули самую роскошную діадему, если-бы всѣ блага міра повергли къ моимъ ногамъ, — я отвернулся-бы равнодушно, прошелъ бы мимо, даже не замѣтивъ, потому что, мнѣ казалось, я имѣлъ больше, неизмѣримо больше... Я помню, въ это прелестное майское утро мнѣ все улыбалось—и солнце, и стѣны домовъ, и Нева, на набережной которой я вдругъ очутился, и воздухъ, и рѣвшія въ немъ ласточки, щебетавшія мнѣ, казалось, все то, что за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ говорилъ поэтъ... Я самъ улыбался всему, насвистывалъ что-то и все шель и шель...

Опомнился я и остановился только передъ крошечнымъ мезониномъ Машеньки... Какъ я дошелъ до него,—я, казалось, и самъ не

могъ дать себѣ отчета... Я вздохнулъ счастливо и присѣлъ на ступеньку деревяннаго крыльца. И тутъ меня сейчасъ-же осянула веселая и счастливая мысль: кутнуть, накормить вѣчно голодную Машеньку роскошнымъ обѣдомъ.

Я поднялся и, напустивъ на себя для этого спокойный и серьезный видъ, вошелъ къ ней въ свѣтличку.

— Ну, что? — бросилась она ко мнѣ въ тревогѣ и нетерпѣннн. — Что въ редакціи?!

— Ничего, Машенька, — отвѣтилъ я совершенно безучастно, точно меня это нисколько не занимало. — Приняли и напечатають...

— Приняли и напечатають!?. — Она даже вздрогнула отъ восторга.

— Да...

— Что-же вы, какъ будто, не радуетесь?

— Какъ не радуюсь, Машенька, — очень радуюсь! — продолжалъ я, все больше и больше напуская на себя этотъ тонъ безучастья. — Но что-же тутъ таковаго особеннаго?!..

Машенька недоумѣвающе таращила на меня свои глаза.

— И вы видѣли Некрасова?

— Да, видѣлъ...

— Что-же онъ говорилъ вамъ?

— Онъ сказалъ, чтобы я берегъ себя, что изъ меня можетъ выработаться писатель!..

— Писатель!—Машенька захлебнулась.

— Да...

— Но что это съ вами сегодня? Отчего вы такой?!—въ недоумѣннѣ и тревогѣ оглядывала она меня съ ногъ до головы.

— Какой—такой?!

— Да неестественный какой-то... Загордились?

Я сконфузился.

— Что вы, Машенька... что вы!.. Просто, одно важное дѣло, которое важнѣе всякаго писательства!—враль я.

— Дѣло?!.. Машенька встревожилась и насторожилась.

— Да... Тутъ одинъ знакомый прѣхать... былъ у нашихъ друзей!—враль я, самъ не зная что.—Рѣшили собраться вмѣстѣ и поручили мнѣ привести непременно васъ.

— Кто-же это такой?—Какое дѣло?—все болѣе и болѣе тревожилась Машенька, никогда не подозрѣвавшая лжи.

— А вотъ увидите,—это пока секретъ... Пойдемъ-же!..

Машенька въ тревогѣ стала оправлять свое сѣренькое платье, быстро приколола свой единственный черный бантикъ и взялась за шляпку, держа въ зубахъ булавку.

— Такъ вы теперь *писатель!*—сказала она сквозь зубы, вновь загораясь весельемъ и кидая на меня мягкѣй, веселый взглядъ.

— Да, Машенька, да... Пойдемъ!..

— Ну, пойдемъ, *писатель!* — улыбаясь, подчеркнула она.

Мы выпли... Мнѣ очень хотѣлось шутить съ Машенькой и я нарочно предложилъ ей вдругъ руку.

— Что?—почти вскрикнула она.

— Давайте, Машенька, руку!..—отвѣтилъ я важнымъ, напускнымъ тономъ.

— Руку!... Я—руку?! Да что это съ вами сегодня?—не на шутку удивилась она.

— Очень просто!..—вралъ я въ томъ-же тонѣ.—Теперь я писатель... перезнакомился со всѣми... Я могу съ кѣмъ-нибудь встрѣтиться... Неловко-же будетъ, когда увидать со мной барышню, которая такъ отчаянно размахиваетъ руками... Давайте руку!—говорилъ я, чуть сдерживая улыбку.

Къ моему удивленію, Машенька не сопротивлялась... Я взялъ ее подъ руку, но черезъ минуту она спохватилась, вспыхнула и стала вырываться, повторяя:—нѣтъ, это глупо, это чортъ знаетъ что такое... Пустите, Павелъ, пустите!

— Ни за что, Машенька! — говорилъ я, крѣпко прижимая ея руку локтемъ.—Ни за что! Тихе, Машенька, тихе... Насъ могутъ замѣтить!..

Волей-неволей, она покорилась, но стала ворчать, что она не умѣетъ идти подъ руку и что я тащу ее слишкомъ быстро... Я убавилъ шагъ и повернулъ на островъ.

— Куда-жь вы это меня тащите, Павелъ?

— Въ гостиницу, Машенька, — они рѣшили собраться въ гостиницѣ...

— Въ гостиницѣ??.. — совсѣмъ испугалась Машенька. — Въ какой гостиницѣ?..

Я и самъ не зналъ, въ какой, потому что до сихъ поръ не имѣлъ никакого понятія о гостиницахъ и ресторанахъ... Къ моему счастью, на углу одной изъ линій ярко сверкнули золотыя буквы вывѣски — „Тондонъ“...

— Вотъ куда, Машенька... Въ „Тондонъ!“

— Но тамъ, вѣроятно, все странно дорого?

— Нѣтъ, нѣтъ!

Мы вошли... Это былъ ресторанъ средней руки съ запыленными старыми люстрами и бра, съ поружѣвшими и полинявшими мебелью и гардинами, — но намъ съ Машенькой онъ показался, конечно, роскошнымъ рѣаззо... Она видимо совсѣмъ оробѣла, сконфузилась и потому прижималась ко мнѣ. Когда мы сѣли за столъ, она сейчасъ-же спросила:

— А гдѣ же другіе?..

— Они придутъ, Машенька!.. Человѣкъ, обѣденную карту!... — крикнулъ я не хуже любого франта.

Машенька опять уставилась на меня не то испуганно, не то недоумѣвая. Полинявшій лакей, въ полиняломъ фракѣ, подалъ мнѣ карточку съ обѣдами отъ 30 коп. до 1 руб.

— По рублю-съ? — недоумѣрчиво переспросилъ онъ, когда я отмѣтилъ ему по карточкѣ.

— Да!

— Два обѣда-съ!?

— Ну, конечно!

Изумленная Машенька вспыхнула отъ негодованья.

— Вы съума сошли, Павелъ!.. Что это значить?!

— А это значить, Машенька, что такъ надо!

— Два рубля на обѣдъ, когда тамъ есть въ 30 коп.?

— Такъ нужно!..

— Да зачѣмъ нужно?.. Что все это значить?

— А вотъ увидите...

— Я не буду ѣсть... это преступленіе... Два рубля, когда кругомъ... нѣтъ! — Да откуда у васъ деньги?!

— Мнѣ дали въ редакціи...

— Дали въ редакціи!—негодовала Машенька.—Дали въ редакціи!.. Что же, развѣ вы не могли сдѣлать изъ нихъ лучшаго?

— Не могъ!..

— Это—Богъ знаетъ что; вы говорите все какими-то загадками... Я не буду ѣсть, ни за что не буду... Слышите, буржуа, чистѣйшій буржуа,—я не буду!..

Но она ѣла... Когда подали, какъ те-неръ помню, зеленый супъ изъ щавеля, та-кой красивый и вкусный на видъ, она вновь всникнула, заворчала, колеблясь, взяла лож-ку и, обзывая меня „буржуа“, все таки не устояла и стала ѣсть... Съ каждой ложкой она ѣла все смѣлѣе и смѣлѣе, хотя ворчала и обзывала меня по прежнему... За супомъ также пошло другое, третье, и Машенька все ѣла и ѣла, ворча, негодую, но не чувствуя ви-димо силъ справиться съ проснувшимся ап-петитомъ... Плоть оказалась сильнѣе духа, и я, ликуя, полный счастья, любовался ею, ея ворчаньемъ, негодованиемъ и аппетитомъ... Наконецъ, подали послѣднее—плохой маседу-анъ изъ плохихъ засахаренныхъ фруктовъ въ стеклянныхъ чашкахъ, и Машенька всплесну-ла руками.

— Это преступленье, прямо преступленье, Павелъ!

Но и это „преступленье“ захрустѣло, въ свою очередь, на ея острыхъ, прекрасныхъ зубахъ... Когда всѣ „преступленья“ были уничтожены, за кофе я сталъ поддразнивать Машеньку...

— Ну, Машенька, теперь и вы „буржуа!“

— Какъ-такъ?!

— А рублевый обѣдъ?—развѣ этого мало!...

— Да, вѣдь, это все вы! — искренно оправдывались она, краснѣя и волнуясь.—Развѣ я хотѣла?..

— Да, все я!—съ дѣланной обидой въ тонѣ, ворчала я ей въ отвѣтъ.—Все я... Это самое удобное—сваливать все на другихъ.

Машенька сконфузилась до-нелзя и выглядѣла совсѣмъ виноватой, не зная, какъ отнестись къ моимъ словамъ. Я сталъ ее успокоивать и признался въ всемъ... Никакого дѣла не было, а я просто хотѣлъ съ нею кутнуть на первый гонораръ... Она сначала, какъ будто, разсердилась, потомъ вспыхнула и кончила тѣмъ, что разсмѣялась.

— Ахъ, вы, буржуа... безсовѣстный буржуа!

Тутъ мнѣ подали сдачу со ста рублей.

— Вамъ дали цѣлыхъ сто рублей!—точно не вѣря своимъ глазамъ, спросила Машенька.

— Да...

— Дать Некрасовъ? Неужели?

— Да.

— А говорить, что онъ...

— Мало-ли что, Машенька, говорятъ про великихъ людей—дурные люди...

Машенька замолчала, а я протянулъ ей всѣ деньги.

— Вотъ, Машенька, — я хотѣлъ съ вами кутнуть на этотъ первый гонораръ, а теперь остальное, кромѣ этой мелочи, которую беру себѣ, я отдаю въ ваше распоряженіе для „несчастливыхъ“!..

Машенька вспыхнула отъ восхищенья, глазки блеснули, ручка протянулась къ деньгамъ — и вдругъ остановилась... Въ лицѣ ея промелькнуло что-то въ родѣ жалости.

— Что-же вы, Машенька?!

— Нѣтъ, нѣтъ, — заговорила она быстро, спѣша и все больше конфузясь, — нѣтъ, я не возьму... у васъ не возьму...

— Почему это?! — невольно удивился я.

— Нѣтъ, — не возьму... Вамъ самимъ надо... Вы теперь писатель, вамъ нужны знакомства, а у васъ ничего нѣтъ — ни бѣлья, ни платья... Нѣтъ, нельзя, Павелъ! Вы должны подумать и о себѣ... Не возьму!

— Это мое дѣло, а не ваше, Машенька! — обидѣлся я. — Имѣю же я право распоряжаться тѣмъ, что принадлежитъ мнѣ?!

Мы стали спорить, и Машенька согласилась, наконецъ, взять только часть... Конфузязь, она робко отсчитала 25 и остановилась...

— Будеть, Павелъ!

— Нѣтъ, ни за что! Берите еще!

— Право, будетъ! — просто упрасивала она меня.

— Ну, хоть на половинѣ помиримся, Машенька!

Она согласилась и отсчитала половину, вся красная и кидая на меня добрый, благодарный и вмѣстѣ участливый взглядъ...

Мы вышли и по дорогѣ зашли въ небольшой скверъ, гдѣ, кромѣ насъ, не было ни души.., Теперь уже безъ всякаго сопротивленія дала мнѣ Машенька свою руку и шла, прижавшись ко мнѣ. Мы что-то смѣясь, говорили, но что—не помню, только знаю, что хорошее, потому что оба чувствовали себя какъ-то особенно хорошо... Вдругъ она вспомнила, что обѣщала навѣстить больную подругу.

— Ну, спасибо, Павелъ, и до свиданья!

Машенька остановилась и улыбнулась...

— А, все-таки, вы—буржуа!

Она улыбалась глазами, улыбалась вся, всѣми фибрами своего добраго, красиваго лица... Изъ-за крѣпости поднималась, какъ-бы грозя, черная туча, погромыхиваль уже далекіи

громъ, но надъ нами свѣтило еще солнце и обливало насъ потоками ласковаго, весенняго свѣта... Это улыбающееся „буржуа“ прозвучало мнѣ какой-то особенной лаской... Я невольно поднялъ глаза, поймалъ взглядъ Машеньки, и тутъ только—наивный глупецъ—почувствовалъ я вдругъ и понялъ, что я ее люблю, давно, глубоко, сильно люблю и люблю тоже ею.

— Машенька!

Задыхаясь отъ прилива самого глубокаго счастья, я протянулъ руки... Она не сопротивлялась, только вспыхнула вся до своихъ крошечныхъ ушей... Я прижать ее къ себѣ и, весь дрожа, волнуясь, точно въ забытѣи, шепталъ ей все одно и то-же слово: люблю, люблю, люблю... Она прильнула ко мнѣ и шептала то-же... Но вдругъ она вырвалась и выскользнула изъ моихъ рукъ.

— Ну, будетъ, дорогой! Довольно!

Лице ея стало серьезно, брови нахмурились... Вся блѣдная, она тяжело дышала.

— Будетъ, Павелъ!.. Наши дороги разные!...

— Что?!

— Наши дороги разные... — повторила она.— Вы должны оставаться здѣсь, беречь себя,—должны стать писателемъ и служить всѣмъ людямъ словомъ своимъ, а я...

— А вы!?—крикнулъ я въ испугѣ, хватая ее за руку.

— А я пойду въ деревню... Я потону въ ней, Павелъ...

— Нѣтъ, Машенька! Вы будете моей женой... Мы пойдемъ и потонемъ вмѣстѣ...

Въ безумномъ почти страхѣ за свое счастье, которое тутъ же разбивалось, я крѣпко, до боли сжать ея крошечныя рученки... Но она вырывалась, повторяя :пустите, пустите!.. Задыхаясь, я шепталъ ей, что она меня убиваетъ, что мнѣ больно...

— А мгѣ, Павелъ, развѣ сладео?—перебила она меня чуть слышно, и въ тонѣ ея вопроса я слышалъ готовыя вырваться слезы.

— Зачѣмъ же дѣлать такъ?!

— Потому, что дороги наши разные... У васъ есть талантъ и вы должны беречь его, потому что онъ принадлежитъ не вамъ, а вашему народу... Мы стѣснимъ другъ друга...

— Все это вздоръ, Машенька!..

Я сжималъ ея руки, тянулъ ее къ себѣ, но она вырывалась и шептала все одно и то же... Она успокаивала меня, увѣряла, что я буду любить еще 20, даже 100 разъ, что ее я скоро забуду, что молодыя раны заживаютъ быстро, но на глазахъ ея дрожали слезки.

— Нѣтъ, нѣтъ, неправда!—говорили сами-собою въ отвѣтъ мой безжизненные, казалось, губы.

Туча изъ-за крѣпости надвинулась совсѣмъ близко, грозная, темная, давящая... Громъ загрохоталъ, казалось, прямо надъ нами...

— Прощайте, Павелъ!.. Берегите свой талантъ и забудьте меня „монашку“, какой я и останусь...

Она вырвалась и скользнула отъ меня, какъ тѣнь...

Я стоялъ на мѣстѣ, готовый разрыдаться, какъ ребенокъ,—слезы сжимали мнѣ уже горло, — готовый броситься и силой, во что бы то ни стало, удержать ее...

Минута,—и я догнать-бы ее... Но вдругъ она сама остановилась, обернулась, подошла ко мнѣ, обняла мою шею руками и я почувствовалъ на щекѣ ея поцѣлуй или слезы...

— Прощай, Павелъ, и не сердись... Я люблю тебя тоже,—но такъ будетъ лучше! — шептала она мнѣ, глотая слезы. — Если ты любишь меня, не ищи со мною встрѣчи, — черезъ два дня я уѣду!..

— Зачѣмъ, зачѣмъ?..—говорилъ я, какъ въ чаду, прижимая ее къ себѣ и тоже глотая слезы. Я не зналъ, что дѣлать, что говорить ей, и только прижималъ ее все сильнѣе и сильнѣе... Она не сопротивлялась, при-

жималась ко мнѣ, положивъ голову на мое плечо, и тихо, беззвучно плакала... Но вдругъ она подняла голову и развела мои руки.

— Будеть!

И она выскользнула снова, но остановилась на мгновенье, точно колеблясь и не рѣшаясь... Казалось, она еще что-то хочетъ сказать мнѣ, только не находитъ слова, ищетъ его или припоминаетъ... И вдругъ нашла... Она подняла на меня прямо въ упоръ свои добрые, честные глаза, полные грустной мольбы.

— Павелъ,—прошептала она мнѣ, — милый Павелъ!—Оставайся всегда честнымъ и люби свой народъ!

Съ тѣхъ поръ прошло много лѣтъ... Много было пережито мною, во многомъ измѣнилась жизнь... Когда мнѣ подчасъ становится не подъ силу, когда и жизнь, и болѣзнь даютъ до того, что въ больной головѣ копошится преступная мысль: не покончить-ли все разомъ?—я какъ-то невольно вспоминаю Машеньку... И благодатное тепло снова наполняетъ мою душу и кажется, будто незримый хранитель святымъ своимъ крыломъ осѣняетъ меня отъ зла.. Гдѣ-же нибудь да живетъ Машенька на Руси, а гдѣ живетъ она — тамъ, конечно, живутъ и правда, и совѣсть!

ИЗЪ СЪВЕРО-АМЕРИКАНСКОЙ
ЖИЗНИ.

БОЕВАЯ НОЧЬ

РАЗСКАЗЪ БОБЫЛЯ СКИТАЛЬЦА.

I.

Съ весны еще вся перія была на-сторожѣ. Фермеры то-и-дѣло готовились къ отпору, со дня на-день ожидая нападенія индѣйцевъ, раздраженныхъ уже до послѣдней степени самовольнымъ захватомъ ихъ территоріи ¹⁾ и другими самоуправствами со стороны бѣлыхъ. Ранней весной еще нѣсколько новыхъ пионеровъ, жадныхъ до хорошихъ земельныхъ участковъ, перешли „границу“, поставили тамъ свои „блокгаузы“ ²⁾ и стали рубить лѣсъ. Въ то время пограничное индѣйское племя „оседжи“ откочевало въ глубь и захватъ совершился благополучно, но всѣ отлично знали, что дѣло такъ не кончится, и втайнѣ ликовали. Всѣмъ, признаться, давно уже хотѣлось вызвать „краснокожихъ собакъ“ на какой-нибудь

¹⁾ „Индѣйской территоріей“ называется земля, специально-отведенная конгрессомъ однимъ индѣйцамъ, селиться на которой запрещено бѣлымъ закономъ, вѣчно однако нарушаемомъ послѣдними.

²⁾ Блокгузъ — срубъ, паскоро сколачиваемый для жилья пионеромъ.

рѣзкій и острый шагъ, завязать драку, чтобы затѣмъ, конечно, засыпать конгрессъ жалобами и воплями на „диваря, мѣшающаго мирной культурѣ, проливающаго неповинную кровь младенцевъ и женщинъ“ и т. д., добиться такимъ образомъ присылки союзныхъ войскъ, которыя оттѣснятъ этого диваря дальше къ югу, и въ концѣ-концовъ овладѣтъ новой полосой земли, новыми дѣвственными участками. Это—старая, излюбленная тактика „молодцовъ запада“ съ охотникомъ-номадомъ или, по-просту, „краснокожимъ псомъ“. Послѣ жестокой рѣзни, индѣйцы волей-неволей принуждаются къ отступленію дальше въ глубь своей территории, проводится новая граница, не переступать которую бѣлые клянутся вновь и самымъ торжественнымъ образомъ, а за оставленную полосу земли конгрессъ гарантируетъ индѣйцамъ съ тѣхъ, кто займетъ новые участки, по доллару съ четвертью за акръ, которыя, пройдя чрезъ липкія руки чиновниковъ-агентовъ, выдаются обыкновенно индѣйцамъ въ видѣ гнилыхъ, хотя и очень яркихъ одѣялъ, плохихъ ружей, подмоченнаго пороху и бочекъ „виски“. Все это вмѣстѣ взятое называется „индѣйской политикой запада“, а въ устахъ краснорѣчивыхъ ораторовъ слыветъ за „побѣдоносное шествіе культуры“.

И ожиданія, конечно, очень скоро оправдались. Недѣли три послѣ захвата въ пограничный городокъ Сидертуанъ явился посолье отъ индѣйцевъ, старый Рысій Глазь, съ длиннымъ повисшимъ носомъ и трясущейся нижней губою. Онъ передалъ блѣднолицымъ требованіе своихъ „братьевъ“ уйдти съ земли, отведенной имъ конгрессомъ и самимъ „отцомъ блѣднолицыхъ“ для охоты, и напоминалъ торжественныя клятвы не переступать никогда пограничной черты. Но у „молодцовъ запада“, у которыхъ такіе длинные ножи и карабины, память, какъ извѣстно, очень коротка, а слухъ не всегда тонокъ. О конгрессѣ и клятвахъ, поэтому, они упорно молчали, но за-то старый Рысій-Глазь много слышалъ о библейскихъ завѣтахъ, завѣщавшихъ землю только тѣмъ, кто ее обрабатываетъ, а не тунеядцамъ, гоняющимся за буйволами и лосями. Много другихъ еще интересныхъ вещей услышало его ухо, пересыпанныхъ не однимъ десяткомъ полныхъ соли восклицаній по адресу его „братьевъ“, а когда онъ въ свою очередь вздумалъ сослаться на авторитетъ „Духа пустыни“, подарившаго отъ вѣка всю прерію однимъ краснокожимъ, — молодцы запада дали полную волю своей исконной страсти къ ироніи. Усомнившись въ самомъ существованіи этого Великаго Духа и въ возможности завѣщанія

кѣмъ бы то ни было земли „собакамъ“, а не человѣку, молодцы выказали столько пизантаного остроумія, что у стараго индѣйца потемнѣло лицо, сдвинулись брови, носъ повисъ еще ниже, а губа затряслась сильнѣе... Онъ выпрямился и рѣзкимъ гортаннымъ голосомъ высказалъ увѣренность, что его обиженные братья съумѣютъ найти свою правду... Это подлило въ огонь масла... Хохоть удесятерилась, иронія хлынула черезъ край и Рысьему Глазу остроумно предложили, — не пожелаешь ли онъ немедленно отправиться за этой правдой къ своему Духу Пустыни съ помощью веревки, зацѣпленной однимъ концомъ за его старую шею, а другимъ за сучь громаднаго орѣха... У стараго индѣйца блеснули глаза, онъ сердито сжалъ тонкія губы, поднялъ свой посохъ, быстро переломилъ его на двое, бросилъ одинъ конецъ на право, другой — на лѣво, повернулся и ровной, чуть слышной походкой, еле касаясь земли своими мокасинами, пошелъ назадъ. Въ догонку ему мчался здоровый хохоть цѣлой толпы „молодцовъ“, масса остроумія и ѣдкой соли, но Рысій Глазь не повернулся, точно не слышалъ, и быстро исчезъ въ кустахъ пограничнаго ручья.

Послѣ этого, конечно, оставалось ждать только „событій“, въ ожиданіи которыхъ вся прерія предусмотрительно чистила свои кара-

бины и пригоняла пули... Эти краснокожія собаки не замедлят явиться за „ремингтоповскими пилюлями“, въ жаждѣ которыхъ давно уже чешутся ихъ безмозглые, собачьи черепа! — Ого-го, не одинъ черепъ, чортъ побери, разлетится въ дребезги отъ такого свинцоваго гостинца, — зададутъ имъ перцу на долго! Вся прерія то и дѣло воинственно влялась и божилась, а толстый и богатый торговецъ Микель увѣрялъ всѣхъ и каждого, что въ Германіи эту краснокожую сволочь усмирили бы однимъ взводомъ... Только бы дали ему въ команду одинъ взводъ, всего только одинъ взводъ 83-го Померанскаго герцога Альбертъ - Гансъ - Марія пѣхотнаго полка, въ рядахъ котораго онъ стоялъ при Гравеллотѣ, — и онъ показалъ бы, что значить „бравый нѣмецъ“ и тонкій стратегъ! — Пифъ-пафъ, — баць—баць!... Ложись—вставай! — Вставай, ложись! — и скоро поняла бы эта „дрянь“, что значить истинная цивилизація! Да!!!

Воинственное настроеніе росло и росло, отѣсняя на задній планъ всѣ насущныя заботы. „Сторожевые“ то и дѣло скакали взадъ и впередъ, зорко слѣдя за границей, ловя подозрительнымъ ухомъ каждый шорохъ, каждое движеніе, и мирно топтавшіеся въ высококой травѣ стада сластолюбивыхъ степныхъ куриць не разъ, правду сказать, давали по-

воду къ напрасной тревогѣ, усиливавшей только все возраставшее лихорадочное возбужденіе. Оно стало еще напряженнѣе, еще страстнѣе, когда, вслѣдъ за цѣлымъ рядомъ такихъ безобидныхъ тревогъ, молніей пронеслась вѣсть, что тамъ и сямъ видѣли бучки индѣйцевъ, выкрашенныхъ въ боевую краску ¹⁾. Ближайшія къ границѣ фермы немедленно опустѣли, население ихъ перекочевало вглубь, въ сосѣдямъ, а къ губернатору штата полетѣло донесеніе, что „дикари готовятся вырѣзать поголовно все население бѣлыхъ“.

Но раньше, чѣмъ оно встревожило мирный сонъ губернатора въ его далекой Турика ²⁾, въ ближайшую прелестную и тихую ночь, полную золотыхъ звѣздъ и лѣтней нѣги, дремавшая прерія озарилась дивной иллюминаціей... Потоки золотого огня безшумно и тихо поднялись на горизонтѣ и потекли вверхъ по темному куполу къ зениту, гдѣ, разлившись въ громадное багровое зарево, заставили поблѣднѣть яркія звѣзды... Клубы тумана, окутывающаго по ночамъ безчисленные ручьи Канзаса, казались волнами ослѣпительно краснаго бенгальскаго огня, цѣлыми потоками разливагося тамъ и сямъ по преріи... Густой мракъ

1) Оседжи предъ походомъ выкрашиваютъ лицо и руки красной глиной. Эта краска служитъ признакомъ войны.

2) Столичный городъ Канзаса.

ночи улетать куда-то дальше и скрытые-было имъ островерхіе пики горъ, то фіолетовыхъ, то дымно-синихъ днемъ, — сверкали на горизонтѣ золотою цѣпью... Пламя разливалось все шире и шире, сверкало все ярче и ярче, выбрасывая подчасъ громадныя фонтаны ослѣпительныхъ искръ, тучами клубившихся въ тихомъ, совѣмъ неподвижномъ воздухѣ лѣтней ночи. Это подошли, наконецъ, долгожданная „событія“, — пылали зажженные индѣйцами блолгаузы пионеровъ!

— Милиція! мы имъ покажемъ!...

Этотъ кличъ облетѣлъ всю прерію изъ конца въ конецъ раньше, чѣмъ погасло еще пламя... „Молодцы“, вооруженные чѣмъ попало, спѣшили въ Сидертаунъ, какъ сборный пунктъ, полные самой неутолимой ненависти къ врагу и самаго искренняго желанія размозжить въ отместку возможно большее число череповъ. Моя ферма была далеко въ сторонѣ. На разсвѣтѣ я рылъ у себя ямы для осенней посадки деревьевъ, когда, лихо осадивъ возлѣ меня свою пони, посланный гонецъ передалъ мнѣ требованіе — явиться въ Сидертаунъ въ ряды милиціи.

— Вы холосты, сэръ!

— Да.

— Вы должны идти въ милицію...

— Хорошо... Развѣ будетъ походъ!

— Непременно... Мы зададимъ, чортъ побери, этимъ собакамъ изрядную взбучку... До свиданья!

И, повернувъ на мѣстѣ свою пони, „молодецъ“ быстро исчезъ изъ вида.

II.

Къ назначенному часу я былъ уже въ городкѣ... Я былъ человѣкъ далеко не воинственный, къ индѣйцамъ относился иначе чѣмъ всѣ мои сосѣди, тѣмъ не менѣе въ этотъ „походъ“, признаться, собирался не безъ охоты. Мнѣ открывалась возможность ближе и тѣснѣе ознакомиться съ своими сосѣдями „янки“, для которыхъ я оставался до сихъ поръ чуждымъ пришлецомъ-новичкомъ, да и увидеть настоящихъ индѣйцевъ, гордыхъ, независимыхъ, свободолобивыхъ, а не „мирныхъ“, превращенныхъ культурой въ лѣнтяевъ-холоповъ, вымаливающихъ центы на водку, какихъ я до сихъ поръ только и зналъ. Перспектива и того и другаго была для меня очень заманчива... Къ тому же этотъ „походъ“ являлся первымъ общимъ дѣломъ, ставившимъ меня,

не имѣвшаго еще всѣхъ гражданскихъ правъ ¹⁾), рядомъ съ полноправными гражданами союза, какъ равнаго съ равными.

На первый взглядъ можно было подумать, что въ городѣ шла оживленная многочисленная ярмарка... Давка, суета, какая-то лихорадочная возня громадной толпы съѣхавшагося со всѣхъ концовъ народа—совсѣмъ преобразовали мирный и тихій городокъ. Множество запряженныхъ телѣгъ и верховыхъ лошадей наполняли его единственную широкую улицу и зады за домами и огородами; цѣлая толпа „молодцовъ“ въ фланелевыхъ рубахахъ и высокихъ сапогахъ, со шляпами, воинственно опрокинутыми на затылки, съ револьверами и ножами за поясами и длинными карабинами за плечами, сновали взадъ и впередъ, съ жаромъ толкуя о событіяхъ ночи. — Краснокожимъ собакамъ нужно пойти на встрѣчу и задать хорошій нагоняй, прежде чѣмъ они сами, чортъ побери, начнутъ снимать скальпы! За пожаръ отплатить пожаромъ, да встать и попробовать, разрази ихъ громъ, насколько крѣпки у нихъ черена!

— Нужно дать этой краснокожей сволочи хорошаго перцу на память!...

¹⁾ Права гражданства въ Соединенныхъ Штатахъ приобретаются переселенцамъ только по истеченіи пяти лѣтъ пребыванія въ предѣлахъ союза.

— Отогнать ихъ въ Вельзевуду, а самимъ занять ихъ землю!... Статочное ли дѣло, джентльмены, чтобы земля лежала пустыней, когда у добрыхъ людей чешутся руки, чтобы погладить ее плугомъ?! А?!

И на этотъ прямо и открыто поставленный вопросъ вся толпа, конечно, отвѣчала въ одинъ голосъ: вѣрно! вѣрно, чортъ поberi!

— Кто же будетъ вѣтеномъ?!

— А чортъ его знаетъ... Еще не выбрали...

— Говорять, Микель!...

— Микель, такъ Микель!... Право, не знаю кто!... раздавались голоса то тутъ, то тамъ. Этотъ Микель, кажется, служилъ *у своихъ* генераломъ, что ли?..-

— Не генераломъ. а полковникомъ...

— И не полковникомъ... Кажись, всего капраломъ...

— Чортъ его знаетъ, чѣмъ онъ служилъ тамъ! — вмѣшиваются новые голоса, — но эти нѣмцы — мастера въ военномъ дѣлѣ... французовъ-то отдули... А Микель тоже тамъ былъ!...

— О, да, о, да! — вставляетъ и свое слово соотечественникъ и близкій другъ Микеля на ломанномъ языкѣ, — о, да! Господинъ Микель при самомъ Вертѣ былъ, при Гравелотѣ былъ...

Онъ хорошо знаетъ... Онъ самый лучший кэп-тень!... О, да!

Большинство, кажется, несомнѣнно на сто-ронѣ Микеля, этого толстаго, неповоротливаго хвастуна-капрала, загребающаго деньги прода-жей всевозможнаго брака въ своемъ единствен-номъ въ городѣ магазинѣ. Микель лавочникъ всегда производилъ на меня впечатлѣнїе труса-нахала, любящаго поврать о своемъ геройствѣ и своихъ небывалыхъ подвигахъ наивно-довѣр-чивымъ слушателямъ. По окончаніи франко-прусской войны, въ чинѣ капрала онъ ушелъ изъ фатерланда въ американскія преріи, на „добытыя“ деньги завелъ лавку, гдѣ прода-валъ въ три-дорога все необходимое піонерамъ, ссужалъ имъ подь беснословные проценты деньги а въ промежутки вралъ про свои под-виги, — почему и слылъ среди наивно-довѣр-чивыхъ піонеровъ за „ловкаго дѣльца“ и „браваго воина“. Хвастовство это было всег-да самага грубаго пошиба: онъ бралъ въ плѣнъ маршаловъ, уничтожалъ однимъ взводомъ цѣлыя дивизіи, а батареи прямо упрятывалъ въ кар-маны, какъ центы и доллары... Большинство вѣрило, какъ всегда оно вѣритъ, — а денежная зависимость и уваженіе къ „достатку“ побу-ждали выбирать этого вряля - торгаша всюду, куда бы тотъ ни пожелалъ быть выбраннымъ. Ему хотѣлось быть кэптеномъ, — хорошо, —

пусть будетъ кэптеномъ!... Это большинство составляли главнымъ образомъ піонеры изъ европейцевъ, еще плохо обжившихся въ Америкѣ. Чистокровные „янки“, меньшинство, относились къ Мивелю, кажется, совсѣмъ такъ, какъ и я, и прочили своего кандидата, старика Листера—ветерана междоусобной войны... Но шансы Листера были слабы, что сразу бросалось въ глаза.

Пока шли споры о томъ, кому быть кэптеномъ, на улицахъ ставили столы для угощенія „милиціи“. Нарядныя миссъ и лэди, — въ Америкѣ всѣ женщины лэди, — высыпались съ цвѣтами, букетами и вѣнками въ рукахъ для „молодцовъ - героев“, и это появленіе удесятерило, конечно, общую воинственность... Всѣ вытягивались, каждому хотѣлось походить на „героя“. Прокуроръ принесъ свой контрабасъ, докторъ—кларнетъ, столяръ—скрипку, тотъ трубу и такимъ образомъ составилъ свой оркестръ... День былъ свѣтлый и теплый, угощеніе предстояло изрядное, лэди и миссъ были какъ всегда прелестны, общая картина довольно красива и торжественна,—и потому настроеніе всѣхъ было самое хорошее.

— Мивель! Листеръ! Мивель!.. Мивель!.. Листеръ!.. Мивель!..

Побѣдилъ Мивель... Поднялись вверхъ шляпы, изъ прелестныхъ ручекъ посыпался дождь

Букетовъ, многоголосая толпа подхватила „Микель!“, а оркестръ грянулъ „Jankee doodle“, а затѣмъ „Banner sprangled of stears“⁶⁾). Множество маленькихъ полосатыхъ знаменъ замелькали вездѣ и среди нихъ торжественно развернулось большое полосатое знамя милиціи. „Янки“, стоявшіе за Листера, съезжились, нахмурились, на врожденное въ каждомъ американцѣ уваженіе въ большинству сказалось сейчасъ же... Какъ только развернулось знамя и толпа подняла съ крикомъ свои шляпы, привѣтствуя кэптана, янки немедленно сняли и свои шляпы и тоже привѣтствовали его крикомъ: Holla! Съ выборомъ Микеля они стали самыми дисциплинированными его подчиненными, — такова натура „янки“.

— Holla, кэптенъ!

И толстый, приземистый, круглый какъ пивная бочка кэптенъ явился. Онъ успѣлъ уже достать гдѣ-то синее кэпи съ галуномъ, въ которомъ его улыбавшееся сладко и самодовольно, круглое какъ ободъ и лоснившееся жиромъ, лицо выглядѣло до нельзя смѣшно и глупо. Онъ кланялся на привѣтствія, возясь съ длинной саблей, которую долго не могъ прицѣпить и которая, неуклюже болталась между короткихъ ногъ, мѣшала ему ходить. Му-

⁶⁾ Гимнъ: Звѣздное знамя.

зыка играла, толпа кричала, дамы бросали цвѣты и зелень, и кэптенъ, справившись, наконецъ, съ саблей, сталь воинственно врутить тараканій усъ.

— Стройся! Въ шеренги! Въ шеренги!

Мы построились. Кэптенъ обвелъ насъ взглядомъ, повернулъ усъ, сдѣлалъ нѣскольго шаговъ вдоль фронта, снялъ кэпи. Было ясно, что онъ хочетъ говорить, и всѣ насторожились.

— Граждане! Гм... Почтенные граждане!.. Вы сдѣлали мнѣ честь!—началь воинственно, по-фельдфебельски, хотя и съ запинками кэптенъ Микель. — Вы сдѣлали мнѣ честь и я постараюсь... чортъ побори! Мы въ прахъ разобьемъ эту дикую орду!..

— Въ прахъ? Нолл?—подхватили всѣ, музыка загремѣла вновь, лэди замахали платками, довольный кэптенъ пошелъ вдоль фронта.

— А, сэръ, добрый день! — сказалъ онъ, замѣтивъ меня. — Очень радъ видѣть васъ у себя въ рядахъ... Очень радъ... Русскіе храбры!.. У нихъ, конечно, еще мало культуры, но они очень храбры... Я назначаю васъ въ авангардъ!

— Хорошо, кэптенъ Микель!—отвѣтилъ я. Такая любезность была обусловлена, конечно, тѣмъ только, что еще надняхъ я далъ Микелю нажать большой процентъ на чекъ, полу-

ченномъ мною изъ Европы, который я раз-
мѣнялъ у него.

— Хорошо, кэптенъ!

Мивель сдѣлалъ шагъ и остановился предъ
робкимъ Гансомъ, будочнымъ подмастерьемъ.
Робкій и сентиментальный Гансъ, большой
ловеласъ и любитель яркихъ галстуховъ, дро-
жавшій при одной мысли о встрѣчѣ съ индѣй-
цами въ полѣ, поблѣднѣлъ, какъ полотно, и
вытянулся.

— А, Гансъ... Здравствуйте! Молодцомъ,
молодцомъ, совсѣмъ по-военному — поощрялъ
Мивель все вытягивавшагося бурша.—Такъ,
такъ! тоже назначаю въ авангардъ! Вы нѣ-
мецъ и должны быть впереди! Вы должны
показывать другимъ, что можетъ сдѣлать доб-
рый нѣмецъ!

Гансъ затрясся отъ такого комплимента
и внутренно проклялъ свое нѣмецкое проис-
хождение.

— Чортъ бы его побралъ!—тихо шепнулъ
онъ мнѣ. Въ авангардъ! Да со мной отъ од-
ного выстрѣла сдѣлается лихорадка!

Мивель обошелъ всѣхъ. Въ авангардъ по-
пали почти все одни нѣмцы, за то его про-
тивники янки всѣ до одного были отчислены
въ арьергардъ и къ обозу. Зачѣмъ этихъ гор-
дыхъ янки,—пхе!? Мивель могъ хорошо обой-
тись и безъ нихъ! Онъ покажетъ, что зна-

чить нѣмецъ! И безъ „янки“ онъ разобьетъ на голову эту дикую орду!

За „смотромъ“ наступило угощеніе, а за „угощеніемъ“ самое хорошее, самое веселое и бравое настроеніе. Виски, пиво, джинъ сдѣлали свое дѣло, и даже Гансъ, казалось, ничего уже не боялся. Скорѣй бы перевѣдаться съ этой краснокожей сволочью! Даже янки и я готовы были, пожалуй, хоть цѣловаться съ Микелемъ и повѣрить въ его военный геній. То и дѣло поднимались тосты, музыка гремѣла, лэди чаровали, а Микель воинственно бряцалъ своей саблей.

Наконецъ, часы пробили пять и сейчасъ же ударили сборъ... Мы выстроились, вооруженные прекрасными ремингтоновскими штуцерами съ ярко сверкавшими штыками, и по громкой командѣ Микеля „маршъ!“ двинулись стройной колонной, съ распущеннымъ знаменемъ, сопровождаемые музыкой, пожеланіями успѣха и всевозможными восклицаніями поощрительнаго свойства со стороны оставшихся горожанъ. Микель мѣрно отбивалъ шагъ впереди, бряцая саблей...

Куда собственно мы направлялись, —мы въ сущности не знали, да врядъ-ли и самъ Микель отдавалъ себѣ ясный отчетъ... Мы знали, что идемъ на „индѣйца“, что ихъ территория начинается миль за 5, за ручьемъ, что

дорога, по которой мы идемъ, ведетъ въ переправѣ черезъ пограничный ручей, но куда мы направимся дальше, гдѣ намъ искать этого индѣйца, мы, правду сказать, съ Мивелемъ совсѣмъ не знали. Мы просто-на-просто шли „на врага“ и его „территорію“. У переправы черезъ пограничный ручей, густо поросшій небольшимъ лѣскомъ, мы остановились и капитанъ Мивель приказалъ дать „дружный залпъ“... по деревьямъ всему авангарду на „всякій случай“. Авось эта „сволочь“ попряталась тамъ... Мы „дружно“ выпалили, коническія пули сшибли много вѣтокъ, переполошили птицъ, но „врага“ не нашли. Его не было и мы смѣло переправились черезъ ручей.

III.

Вечерѣло... Солнце повисло раскаленнымъ шаромъ на горизонтѣ и косые лучи его багрили румянцемъ и небо, и зеленую прерію... Безчисленные ручьи необозримой преріи слегка задымились клубами легкаго вечерняго тумана, далекіе силуэты горъ затянулись темно-фіолетовой дымкой, въ неподвижномъ воздухѣ похвѣяло вѣтрекомъ и той нѣжной вечерней

прохладой, что такъ благотворно живить измощенныя зноеть силы чловѣка. Всѣ мы, истомленные и зноеть, и далекимъ походомъ, вздохнули легче и свободнѣе... Микель „опытнымъ глазомъ“ полководца искалъ уже „стратегическаго пункта“, гдѣ бы можно было остановиться для ночлега лагеремъ, разбить палатки и поставить котлы... Онъ взбирался на пригорки, поводитъ кругомъ подзорной трубкой и важно дергалъ плечами, пока мы въ ожиданіи сладостнаго отдыха напряженно слѣдили за всѣми его движеніями. Но, какъ на-зло, каждый разъ исканіе „стратегическихъ пунктовъ“ кончалось неизмѣннымъ:

— Авангардъ—впередъ!

И мы все шли, все шли, усталые, запыленные, жаждущіе, пока онъ не пашель, наконецъ, эту чудную глубокую долину, походящую на одинъ изъ укромныхъ уголковъ земнаго рая... Она упиралась въ быстрый и чистый ручей, густо поросшій дубомъ и орѣхомъ, а съ боковъ опоясывалась длинною цѣпью островерхнихъ холмовъ. Лучшаго мѣста, казалось, не могло быть на свѣтѣ и съ чисто ребячьимъ весельемъ мы стали возиться на мягкой и сочной травѣ... Правда, опытные люди и ветераны прежнихъ походовъ ворчали, что такая долина болѣе пригодна для пивника, чѣмъ для военнаго лагеря, что такой хитрый

врагъ, какъ индѣйцы, легко могутъ воспользоваться и лѣсомъ, чтобы ударить на насъ съ фронта, и боковыми холмами, чтобы напасть съ фланговъ, что они могутъ насъ перерѣзать въ этой долинѣ, какъ степныхъ курицъ причемъ намъ не поможетъ даже пушка, — мы не слушали, мы совсѣмъ не хотѣли знать этого брюзжанья, весело ставили палатки и раскладывали костры...

— Индѣйцы?! ихе! — пренебрежительно улыбался на эти зловѣщіе толки кэптенъ Микель. — Индѣйцы?! Да мы испелимъ ихъ прежде, чѣмъ они высунутъ свои красные носы изъ травы! Индѣйцы! Орда! Есть о чемъ говорить!.. — И онъ презрительно выдвигалъ впередъ свою толстую нижнюю губу.

Наше настроеніе вполне отвѣчало этому тону предводителя. Весело и беззаботно возились мы у нашихъ костровъ, гдѣ шумно уже кипѣли походные чайники, а большіе котлы окутывались ароматнымъ паромъ, аппетитно щекотавшимъ поздри. Первая очередная партія часовыхъ, отправленныхъ кэптеномъ въ цѣпь, съ искренней завистью оглядывалась на насъ, счастливецъ, чья очередь была еще далеко.

— Эхъ, и зачѣмъ еще эти часовые... Очень нужно! Ничего кругомъ, кромѣ степныхъ курицъ!..

— Нельзя, нельзя!—важно твердилъ кэп-тенъ. — Часовые должны быть, это законъ войны! При первой тревогѣ—пафъ! и назадъ, бѣгомъ въ лагерь!.. При Гравелотѣ...

Часовые пошли въ цѣпь, глубоко негодуя на эти „законы войны“, а того, что было при Гравелотѣ, никто, конечно, не слушалъ, — чай и ужинъ поспѣли...

IV.

— Сэръ, вставайте, сэръ, ваша очередь идти въ цѣпь!..

Это было уже незадолго до разсвѣта. Луна спряталась и кругомъ стояла глубокая ночная темь, въ которой особенно ярко выдѣлялись вверху золотыя звѣзды. Здоровая тряска, которую задали мнѣ сильныя руки „дежурнаго“, разбудила меня, наконецъ, отъ глубокаго сна; я вскочилъ, но, ничего еще несоображая, бессмысленно теръ невидѣвшіе ничего глаза.

— Въ цѣпь, сэръ, въ цѣпь, ваша очередь...

Я вспомнилъ, наконецъ, гдѣ я, вспомнилъ, что я милиціонеръ, и понялъ, чего отъ меня нужно... Пришла моя очередь становиться на часы и оберегать крѣпко спавшій лагерь. Я вскочилъ, взялъ ружье и, ежась отъ ночнаго

холода и зѣвая, пошелъ впередъ за дежурнымъ, ничего не различая въ темнотѣ... Сзади меня шелъ Гансъ, проклиная индѣйцевъ и всѣхъ тѣхъ, кто выдумалъ эти „глупые походы“.

— И нужно было выдумать эту глупость!— ворчалъ онъ. — Не спи и шляйся теперь по ночамъ, чортъ знаетъ куда!..

— И знаете,—подхватилъ я шутя,—пре- опасная это вещь стоять на часахъ... Во-первыхъ, отвѣтственность большая,—на тебѣ лежитъ безопасность всего лагеря, во-вторыхъ...

— О, не пугайте, — взмолился искренно Гансъ,—я и такъ боюсь... право боюсь...

Всѣ разсмѣялись и совѣтовали Гансу смотре- рѣть въ оба и не жалѣть пули при малѣйшей тревогѣ. — Смотрите въ оба, и чуть что, — пали! а затѣмъ—назадъ!—говорилъ старшій.

— Шутки въ сторону, господа,—прервалъ тутъ молчаніе шедшій съ нами „янки“, ветеранъ минувшей войны,—а глядѣть вы дѣйстви- тельно должны въ оба... Теперь именно самое опасное время... Индѣйцы обыкновенно нападаютъ предъ разсвѣтомъ!...

Не знаю, что почувствовалъ Гансъ, но мнѣ стало жутко. Сознаніе громадной отвѣтствен- ности, лежащей на мнѣ, еще усиливало это состояніе... Глубокая мгла, казалось, стано- вилась какъ на зло гуще, еще непрогляднѣе, а за этой непроглядной мглою чудилась не-

премѣнно какая-то скрытая, тревожная тайна... А что въ самомъ дѣлѣ, если *они* готовятся къ нападенію и скрываются уже гдѣ нибудь недалеко въ высокой травѣ?... что, если я прогляжу, если *они* ловко, какъ всегда почти, незамѣтно подползуть и...? Дальше голова отказывалась работать, за то сердце билось до того учащенно, что въ груди спиралось дыханіе...

Я притаился за небольшимъ кустомъ какого-то колючаго растенія и ждалъ въ тревогѣ вглядываясь въ глубокую тьму и лихорадочными руками держа на-готовѣ свой штуцеръ... Лагеръ былъ далеко сзади, кругомъ могильная тишина, въ которой, какъ-то предательски, казалось, мерцали звѣзды... Мои товарищи по цѣпи были тоже далеко, — шагахъ въ 80 каждый, — и мысль о томъ, что видятъ, думаютъ и чувствуютъ они — назойливо лѣзла въ голову... Можетъ быть они что нибудь видятъ, — Можетъ быть готовятся стрѣлять!.. Разъ, два... нѣтъ, — все тихо!... Что-то чувствуетъ теперь Гансъ, который стоитъ отъ меня влѣво?!

Глубокая мгла злобѣще глядѣла мнѣ прямо въ глаза, какимъ-то чернымъ пологомъ, скрывая отъ меня все, что таила въ себѣ невидимая даль... А эта даль — непременно таила въ себѣ что нибудь злое и грозное... Ожидая

ніе мало-по-мало переходило во что-то въ родѣ увѣренности, и я почти уже не сомнѣвался, казалось, что индѣйцы непременно нападутъ съ разсвѣтомъ. Непременно нападутъ!—стучало, казалось, мое сердце... Можетъ быть *они* уже въ травѣ, близко за этимъ чернымъ, непрогляднымъ пологомъ?!.. Можетъ быть *они* разглядѣли уже меня своими зоркими глазами и тихо натягиваютъ тетивы своихъ страшныхъ луковъ?!... Жуткое чувство тревоги все росло и росло, страхъ, казалось, захватывалъ дыханіе и я все крѣпче и крѣпче сжималъ свой штуцеръ...

Воображаю, что долженъ былъ испытывать Гансъ, если я самъ былъ въ какой-то страшной, тревожной лихорадкѣ... Лихорадочнымъ ухомъ, затаивъ дыханіе, я ловилъ каждый подозрительный шорохъ и разъ было чуть-чуть не поднялъ тревоги изъ-за встрепенувшейся въ травѣ птицы... Легкій вѣтеръ всколыхнулъ траву, и я вскочилъ и прицѣлился... Моя увѣренность, что нападеніе непременно будетъ, что врагъ уже близко, все казалось, крѣпла и крѣпла съ каждой минутой, приближавшей разсвѣтъ. Томительное ожиданіе становилось невыносимымъ и сильно стучавшее въ неподвижной, казалось, груди сердце какъ бы то-ропило развязку и просило: скорѣй, скорѣй!..

Чего и зачѣмъ *они* медлятъ?!... Отчего не нападаютъ?!... Еще немного и я, кажется, выпалилъ бы по заколыхавшейся отъ вѣтра травѣ...

И вдругъ—бацъ!

Слѣва отъ меня, тамъ, гдѣ стоялъ Гансъ, ярко блеснуло красноватое пламя и грянулъ выстрѣлъ... Наконецъ-то!.. Вотъ!.. Въ одно мгновеніе я приложился и выстрѣлилъ въ свою очередь; самъ не зная куда. За мной сейчасъ же, какъ и должно было, выстрѣлили стоявшій справа янки и по всей цѣпи кругомъ, какъ разсыпанный горохъ, затрещали выстрѣлы. Тутъ же, съ дымящимся еще штуцеромъ я бросился бѣжать, какъ и всѣ часовые цѣпи, прямо въ лагерь...

Я не зналъ, что такое произошло, въ кого стрѣлялъ Гансъ, въ кого стрѣляли я и другіе, но я понималъ, что бѣгу отъ чего-то страшнаго и злаго, и потому съ каждой секундой я бѣжалъ быстрѣе и быстрѣе... Сзади меня послышался нагонявшій топотъ и помню, что, не рассчитывая уйти отъ этого быстро догонявшаго топота, я повернулся, чтобы всрѣтить врага штыкомъ, и полѣзъ дрожавшей рукой въ сумку за патрономъ... Я былъ вигъ себя, полонъ той остервенѣлой злобы на сѣхъ и ни на кого въ частности, что заставляетъ человѣка совершенно безтре-

петно, даже съ какимъ-то удовольствіемъ самосохраненія втыкать штыкъ въ другаго человѣка... Эти остервенѣніе и злоба продуеъ самага отчаяннаго страха, хотя очень часто сходятъ за геройскую храбрость... И я непремѣнно воткнулъ-бы штыкъ, если бы этотъ другой, бѣжавшій тоже сломя голову, не заораль мнѣ, задыхаясь:—это я, это я!—и я не узналъ бы по голосу Ганса...

Дальше — я ничего не помню кромѣ бѣгства... Какъ мы наткнулись съ примкнутыми штыками на всполошившійся лагерь, какъ не подняли мы другъ друга на штыки — я не понимаю и не знаю... Знаю только и ясно помню, какъ бѣжали, спотыкаясь и задыхаясь, мы всѣ, — и цѣпь, и весь лагерь, побросавъ обозъ, лошадей и пушку. Куда, зачѣмъ. отчего мы бѣжали—не зналъ никто, но каждый задыхался, потому-что бѣжали въ гору, бѣжать было тяжело, а все возраставшій ужасъ гналъ все сильнѣе и сильнѣе. Нашъ собственный топотъ подгонялъ насъ, казалось, и удесятерялъ нашъ ужасъ. Мы летѣли очертя голову, ничего не видя впереди, ничего не понимая, не отдавая себѣ ни въ чемъ отчета, какъ вспугнутое стадо бизоновъ... И впереди всѣхъ, усиленно двигая короткими, жирными локтями и быстро сѣменя короткими толстыми ногами во фланселевыхъ чулкахъ и

кальсонахъ, въ таковой же фуфайкѣ и колпакѣ на головѣ, — летѣлъ нашъ кэптенъ, герой при Гравелоттѣ. — Онъ тащилъ за собой на портупеѣ свою длинную саблю, самъ не зная, конечно, зачѣмъ...

Наконецъ мы остановились... Какъ и почему вдругъ остановились, — ошять не знаю, — но кажется, что остановились всѣ разомъ, какъ стадо. Груды наши работали какъ кузнечные мѣхи... Мы занимали вершину высокаго холма и, озираясь кругомъ въ полумгѣ чуть занявшагося разсвѣта, съ изумленіемъ убѣждались въ отсутствіи погони и какого бы то ни было врага... Въ покинутомъ лагерѣ, который видѣлся внизу, подъ холмомъ, все было спокойно и невозмутимо... Мулы и лошади спокойно паслись, пофыркивая, и кругомъ ни одного индѣйца!.. Въ чемъ же дѣло? Отчего тревога? Зачѣмъ вы стрѣляли, Гансъ?

— Мнѣ показалось, господа, — отвѣтить задыхавшійся Гансъ, — мнѣ показалось, что ползутъ индѣйцы!

Общій громкій хохотъ былъ ему отвѣтомъ... Намъ стало стыдно, мы покраснѣли, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ съ груди свалилась тяжесть страха, — нами овладѣло неудержимое веселье... Мы хохотали и надъ Гансомъ, и надъ собой до упаду... Веселое настроеніе, въ которое перешелъ за минуту передъ тѣмъ гнавшій

насъ паническій ужасъ, и хохоть возрасли еще больше, когда мы оглядѣли комичную фигуру нашего сконфуженнаго предводителя.

— Смотрите, джентльмены, смотрите — нашъ кэптенъ! Ха, ха, ха!..

Толстый Микель въ своей фланели, съ своей саблей, съ своимъ колпакомъ, понялъ, что онъ смѣшенъ, и потому началъ было:

— Господа при Гравелоттѣ...

Общій взрывъ гомерическаго хохота заглушилъ его рѣчь.

— При Гравелоттѣ... началъ онъ громче, но его перебили:

— Убирайся съ своей Гравелоттой!.. Какая тамъ Гравелотта... Вы просто фланелевый тюфикъ.

— Да, да! — загоготали всѣ кругомъ, — именно фланелевый тюфякъ!.. Смотрите!.. Ха, ха, ха!

Бѣдный Микель дѣйствительно очень походилъ на тюфикъ... Онъ понялъ, что роль его окончена.

— Я отказываюсь! — началъ-было онъ, но его опять перебили.

— Намъ нужно настоящаго кэптена, джентльмены, а не фланелевую тумбу... Кто же?!

— Листера, Листера, — слышались голоса, и всѣ кругомъ, хохоча, подхватили имя

Листера, оказавшагося послѣ дѣйствительно хорошимъ и храбрымъ предводителемъ.

— Ну, а теперь пойдѣмъ назадъ къ своимъ муламъ и пушкамъ...

И съ хохотомъ мы двинулись назадъ...

Вскорѣ намъ пришлось участвовать въ стычкахъ довольно жестокихъ и кровавыхъ съ обѣихъ сторонъ... Много всякихъ эпизодовъ, и трагическихъ, и смѣшныхъ, выпало намъ на долю, но эту первую ночь не забыть изъ насъ никто... И много разъ еще хохотали мы, вспоминая и наше стадное бѣгство, и комичную фигуру толстого Микели въ сѣрой фланели.

— Сэръ, — съ недоумѣніемъ спрашивали мы стойкаго и мужественнаго старика Листера, — какъ же это и вы, кэптенъ, — побѣжали со всѣми?! — Такой опытный, стойкій встеранъ и вдругъ...

Но кэптенъ Листеръ всегда качалъ своей сѣдой головой въ отвѣтъ и, добродушно улыбаясь, говорилъ:

— Въ бою не бываетъ ни героевъ, ни трусовъ, джентльмены!.. Въ бою самый робкій человѣкъ, движимый испугомъ, можетъ сдѣлать чтонибудь такое, что сойдетъ за

храбрость, а самый стойкій человекъ побѣ-
жать, какъ овца, за другими... И не па-
бранномъ полѣ ищите героевъ...

Я всегда вспоминалъ при этомъ, какъ дви-
жимый самымъ глубокимъ страхомъ, чуть чуть
не проткнулъ „храбро“ Ганса штыкомъ...

ЧЕРНАЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ.

ПОВѢСТЬ.

ГЛАВА I.

Какъ мистеръ Смитъ приобрѣлъ черного мула.

Лишь только веселое апрѣльское солнце всплыло на голубое небо и улыбнулось яснымъ привѣтомъ и рощѣ, и преріи, и дремавшему еще Мерезвилю, первые золотые лучи его цѣлымъ пламеннымъ потокомъ ударили въ уголь большой бѣлой стѣны телеграфной станціи, стоявшей на пригоркѣ. Нѣсколько шаловливыхъ золотыхъ зайчиковъ, отдѣлившись отъ свѣтоваго потока, вскочили затѣмъ въ большое окно и прямо наткнулись на гладкую плѣшь мистера Смита, по обыкновенію, мирно бодрствовавшаго, уткнувъ голову въ сложенные у аппарата руки. Въ качествѣ дежурнаго по телеграфу, мистеръ Смитъ и не могъ, конечно, не бодрствовать, тѣмъ болѣе, что считался всѣмъ городкомъ чуть ли не исправнѣйшимъ телеграфистомъ „запада“. Тяжелое дыханіе,

нѣсколько странные носовые звуки съ легкимъ присвистомъ и какое-то особенное, неподвижно-грузное положеніе всего тѣла могли свидѣтельствовать лишь о стадіи глубочайшаго раздумья, въ которое, какъ извѣстно, любилъ погружаться мистеръ Смитъ вообще и въ особенности въ ночныя дежурства. Недаромъ слылъ онъ большимъ философомъ въ Мерезвилѣ! И раздумье его было такъ глубоко, что какъ ни бились свѣтлые зайчики съ его плѣшью, какъ ни падали съ рѣдкими прядями его волосъ; великодушно оставленныхъ раздражительною мистрисъ Смитъ на вискахъ и затылкѣ (чего ни наговорятъ злые языки!), — все было тщетно. Въ своемъ глубокомъ раздумьи великій философъ оставался неподвиженъ, непоколебимъ и спокоенъ.

Точно утомившись бороться съ такимъ стоицизмомъ, свѣтлые зайчики вскочили въ стеклянный ящикъ аппарата и рассыпались тамъ яркими блестками по гладко-полированнымъ винтамъ, колесамъ и стержнямъ... Въ ту же минуту неподвижный до сихъ поръ аппаратъ, какъ бы разбуженный вдругъ такими назойливыми гостями — свѣтлыми вѣстниками утра, завертѣлся, заворчалъ и зашипѣлъ.

Мистеру Смиуту въ его раздумьи почудилось сначала, будто бережливая мистрисъ Смитъ горячо негодуетъ на торговку, запро-

сившихъ, какъ всегда, слишкомъ высокую цѣну за морковь и картофель. Затѣмъ, когда, вслѣдъ за ворчаньемъ и шипѣньемъ, въ аппаратѣ началъ звонко стучать мелкою дробью неутомный ключъ свое: „тигъ-такъ, тигъ-тигъ-такъ, тигъ-такъ!“—онъ испуганно вздрогнулъ, ибо принялъ это за обычныя сентенціи той же любимой супруги, обращенныя уже прямо къ нему. Последняго, пожалуй, могло быть достаточно, чтобы вывести изъ раздумья даже самого Сократа, не то что мистера Смита, и потому вполне естественно, что онъ вскопчилъ немедленно. Но, убѣдившись, что нѣжная супруга и не думаетъ обнаруживать признаковъ своего существованія, что вся тревога его, такимъ образомъ, была напрасна, онъ успокоился, сталъ вслушиваться и сердито заворчалъ.

— Такъ и есть!—ворчалъ онъ, ловя привычнымъ ухомъ короткіе, рѣзкіе удары телеграфнаго ключа. — Такъ и есть. Опять экстренная!... Охъ, ужъ мнѣ эти политиканы!... Нечего дѣлать имъ въ Вашингтонѣ,—ну, и знай только разсылаютъ экстренныя! Каторга—не жизнь!

Онъ нажалъ рычагъ, пустилъ ленту и заворчалъ еще сильнѣе обычнымъ тономъ ядовитѣйшей ироніи, съ какимъ истый сынъ за-

падныхъ прерій говоритъ всегда объ „этихъ политиканахъ востока.“

— Такъ и есть, ну, да! Ха-ха-ха, въ фортъ Прескоттъ! Держи карманъ, — перешлешь, какже, когда эта краснокожая сволочь всѣ проволоки оборвала, подавись она и на этомъ, и на томъ свѣтѣ! Охъ, ужъ мнѣ эти политиканы. Экстренная разсылаютъ, а того и не знаютъ, что на свѣтѣ дѣлается! Думаютъ, разбили эту орду, поймали собаку Чернаго Ястреба, такъ и рѣзнѣ конецъ, дороги свободны? Да, какже, палишь! Сами-жъ и виноваты, голубчики, сами и намутили все своимъ баловствомъ да потачками, авось теперь-то образумитесь и свои филантропїи оставите!... Въмѣсто того, чтобы перевѣшать всѣхъ до одной собаекъ, они въ конгрессѣ гуманности разводять, да всякихъ поэтишекъ слушаютъ!... Гуманность, филантропїя, — тоже нашли съ вѣмъ! Посмотрѣлъ бы я на васъ здѣсь, когда-бъ у васъ скальпы полетѣли! Другую пѣсню запѣли бы! А то издали...

Вдругъ онъ прервалъ свое ворчанье; вытянулся, какъ бы въ изумленїи, и весь превратился въ слухъ. Очевидно, чуткое ухо севозъ воркотню уловило нѣчто изъ ряду вонъ выходящее, потому что изумленное лицо его исказилось сильнымъ гнѣвомъ. Точно не вѣря себѣ, мистеръ Смитъ кинулся къ лентѣ, сталъ тща-

тельно разбирать знаки, всплеснулъ руками и почти упалъ на спинку кресла.

— Везти въ Вашингтонъ?—бормоталъ онъ, задыхаясь отъ негодованія. — Таковую собаку? Нѣтъ, они тамъ ничему не научились, и будь я трижды проклятъ, если они его не помнятъ!

Высказывая такое подозрѣніе относительно намѣреній этихъ „они“, почтенный телеграфистъ, несомнѣнно, имѣлъ въ запасѣ много данныхъ. Къ сожалѣнію, вмѣсто того, чтобы высказывать таковыя, онъ разразился проклятіями, и такъ громко, что, навѣрное, поднялъ бы на ноги всѣхъ сосѣдей, не помѣнай ему приходъ гостя.

Такимъ раннимъ гостемъ могъ быть, конечно, одинъ только почтенный Артуръ Кольдайсъ или, попросту, кэптэнъ Артуръ, нѣкогда капитанъ волонтеровъ, „бившій прямо въ туза“, а теперь за страсть къ „свѣжимъ новостямъ“ прозванный жестокими мерзвильцами „старою бабой“. Прекрасная ферма и значительная рента давали кэптэну Артуру большой досугъ, досугъ велъ къ „политиканству“, а послѣднее развило неудержимую страсть къ новостямъ. И дѣйствительно, большой „политикъ“, кэптэнъ Артуръ любилъ собирать новости такъ же страстно, какъ, наприм., строгая, но справедливая мистрисъ

Смитъ—говорить сентенціи. Возстаніе индѣйцевъ, хотя и усмиренное съ плѣненіемъ Чернаго Ястреба, знаменитаго вождя, два раза на голову разбивнаго войска союза, но пока еще не совсѣмъ подавленное, сильно замедляло и даже разстраивало правильность почтовыхъ сношеній, почему почтенный капитанъ, лишний за частую новостей, испытывалъ теперь почти танталовы муки.

— Ишь, точно собака на дичь!—проворчалъ мистеръ Смитъ, все еще дувшійся на пріятеля за отказъ уступить ему чернаго мула.—Ей-Богу, точно собака!

Но кэптэнъ Артуръ не слышалъ, конечно, такого нелестнаго эпитета. Уловивъ еще на лѣстницѣ громкія проклятія мистера Смита, дававшія ему возможность рассчитывать на „нѣчто новенькое“, онъ вошелъ съ білющею улыбкой.

— Съ добрымъ утромъ, сэръ!

Мистеръ Смитъ считалъ себя, вполнѣ естественно, самымъ молчаливымъ, самымъ сдержаннымъ гражданиномъ союза. Въ отношеніи умѣнья соблюдать тайну и держать языкъ за зубами онъ любилъ называть себя даже „могилой“, какъ мистеръ Артуръ— „старымъ солдатомъ“. Держа въ рукахъ только что полученную тайну и видя, въ то же время, предъ собой такого хищника, онъ насунился, принялъ важ-

ный видъ и отвѣчалъ на привѣтъ довольно сухо. А это еще сильнѣе утвердило гостя въ его расчетѣ.

— Что-нибудь новенькое! — сладко спросилъ тотъ и узкіе глаза его хищно блеснули. — Свѣженькое что-нибудь?

— Н-да, не безъ того! — довольно загадочно и важно отвѣтилъ какъ бы про себя мистеръ Смитъ, умѣвшій-таки поддерживать престижъ „чиновника союза“. — Не безъ того! Кое-что есть!...

Глаза кэптэна Артура заходили изъ стороны въ сторону.

— Изъ Вашингтона?

— Экстренная!

— Вотъ какъ!

Мистеръ Артуръ захлебнулся.

— Къ намъ? — спросилъ онъ, задыхаясь. — Въ Мерезвиль?

Послѣ извѣстной размолвки изъ-за мула мистеръ Смитъ имѣлъ всѣ резоны не отвѣчать на жгучій вопросъ и наказать, такимъ образомъ, кэптэна. Но страсть поглумиться надъ „вашигтонскими политиванами“ взяла верхъ.

— Въ фортъ Прескотъ, сэръ! — выразительно подмигнуть онъ. — Въ от-рѣ-зан-ный фортъ! — подчеркивалъ мистеръ Смитъ.

— Въ фортъ Прескотъ? Ха-ха-ха... Развѣ по воздуху?

Тутъ оба пріятели залились гомерическимъ хохотомъ, выразительно подмигивая другъ другу и до тонкости разобрали всю „глупую“ вашингтонскую политику, рассылающую „экстренныя“, не зная, что дѣлается на дорогахъ, и то и дѣло только мирволящую „краснокожимъ собакамъ“. Господи, хоть бы съ одного-то изъ „нихъ“ сорвали когда-нибудь скальпъ! Увидѣли бы „они“, стоитъ ли мирволить да гуманничать! Только бы одинъ скальпъ!...

Какъ ни была интересна такая здравая критика, но неудержимая страсть кэптана, все-таки, побѣдила.

— И какъ же вы перешлете, почтеннѣйшій мистеръ Смитъ, эту „экстренную?“ Потребуется военнаго эскорта для доставки? да?— спросилъ онъ, оставивъ критику.

— Конечно, сэръ, другаго способа и нѣтъ... Пусть тащится съ эскортомъ!... Что касается меня, сэръ, то я былъ бы очень радъ, еслибъ она и не дотащилась вовсе!... Очень радъ, чортъ побери! — и мистеръ Смитъ запыхалъ негодованіемъ вновь.

— Развѣ скверное?—почти зашепталъ отъ необычайнаго волненія гость.

— И очень, сэръ! Чортъ знаетъ что, сэръ! Самый адъ, разрази меня Господь, сэръ, не придумалъ бы худшаго!

У кэптэна Артура забѣгали глаза. Выносить такую пытку не хватало уже силъ и, задыхаясь, путаясь, онъ тихо проговорилъ:

— Я надѣюсь, мистеръ Смитъ, что вы не скроете отъ стараго друга... Вы знаете, что я... Но мистеръ Смитъ былъ „могила“.

— Государственная тайна... Долгъ службы, сэръ!—внушительно заговорилъ онъ чисто-могильнымъ голосомъ.—Долгъ службы!

— Да, да, понимаю!—быстро сыпаль гость, захлебываясь отъ нетерпѣнія, такъ какъ препятствія только сильнѣе разжигали его страсть. Я хорошо понимаю! Оно, конечно... государственная тайна... долгъ службы... такъ! Но если, напримѣръ, пріятель, который обяжется честнымъ словомъ стараго солдата,—словомъ стараго солдата, сэръ!—превратиться въ нѣмую рыбу...

Зналъ ли мистеръ Смитъ о невозможности „старому солдату“ превратиться въ нѣмую рыбу, или нѣтъ, только голосъ его сталъ еще могильнѣе.

— Секретная, сэръ!—точно оправдывался „могила-Смитъ“.—Секретнѣйшее предписаніе военнаго министра!

Этого было слишкомъ для кэптэна Артура. Его ударило въ потъ и въ вискахъ застучало.

— А-а... еще и секретная! Секретное предписаніе! — захлебывался онъ, подавшись впе-

редъ и кидая алчный взглядъ на ленту аппарата. — Ну, да, я такъ и ожидалъ, такъ и думалъ, сэръ! Да, конечно, тутъ требуется тайна?... Да, да! Ужь не о Черномъ-ли Ястребѣ?... А?!

Но могила — Смитъ загадочно молчалъ...

— Не о немъ-ли, сэръ!? Серьезно, — да? — кэптенъ старался заглянуть своимъ хищнымъ взоромъ въ глаза друга.

Мистеръ Смитъ не поднялъ опущенныхъ вѣкъ....

Тогда кэптенъ рѣзко оборвалъ, помолчалъ немного, точно отказавшись отъ всякой надежды проникнуть въ чужую тайну, и заговорилъ затѣмъ о другомъ, совершенно измѣнивъ и самый тонъ.

— А знаете ли, сэръ, — началъ онъ, казалось, совсѣмъ уже равнодушно и спокойно, — я передумалъ... Я, знаете ли, пожалуй, и не прочь теперь продать того мула... Знаете, о которомъ вы заговорили было давеча...

— Продать мула? — мистеръ Смитъ поднялъ глаза.

— Ну, да!... Того, съ бѣлымъ пятномъ... Помните?

Помнить ли онъ?! Этотъ чудный мулъ съ бѣлымъ пятномъ на лбу точно у Аписа, съ черными отненными глазами, съ тонкими, какъ у газели, ногами, — этотъ мулъ положительно пре-

слѣдоваль бѣднягу и во снѣ, и на яву. Этотъ мулъ стоялъ предъ нимъ, какъ живой, что бы тотъ ни дѣлалъ, о чемъ бы ни думать, — онъ самовольно, точно навожденіемъ злаго духа, вторгался даже въ тексты депешъ, передаваемыхъ влюбленнымъ въ него Смитомъ, производя, конечно, путаницу и вызывая законный гнѣвъ сосѣднихъ станцій. Еще вчера онъ замѣнилъ собою въ текстѣ депеши слово: „мужъ“ и бѣдный мистеръ Смитъ получилъ нахлобучку, какъ-то нечаянно простучавъ адресаткѣ „вашъ мулъ“. вмѣсто „вашъ мужъ“. Онъ, признаться, даже заслонялъ ему подчасъ свѣтлый образъ любимой супруги... Этотъ мулъ....

Мистеръ Смитъ закрылъ глаза и дьявольскій мулъ явился предъ его духовнымъ окомъ во всемъ соблазнѣ своей дикой красоты. Затѣмъ онъ открылъ глаза... затѣмъ...

Но тутъ оба пріятели заговорили о чемъ-то такимъ глубокимъ шепотомъ, что даже чуткое ухо самой мистрисъ Смитъ, плотно приложенное къ замочной щели, не могло уловить ни звука...

А злосчастная „экстренная“, побродивъ по двумъ, тремъ инстанціямъ, дождалась, наконецъ, эскорта и двинулась съ нимъ въ отрѣзанный пока фортъ, стоявшій у самой границы индѣйскихъ владѣній, грозно глядѣвшій туда открытыми жерлами громадныхъ пушекъ.

Небольшія шайки возставшихъ племень бродили еще у самой границы, но нападать на военные эскорты онѣ уже не рѣшались и телеграмма военнаго министра добралась въ фортъ благополучно. А что она тамъ натворила, читатель узнаеть изъ слѣдующей главы.

ГЛАВА II.

Изъ которой ясно, какъ много значить въ жизни „точка зрѣнія“.

— Я желалъ бы знать, разорви меня бомба, что вы на это скажете, лейтенантъ Свитхартъ? Да, что вы на это скажете?

Если бы часовой вдругъ ударилъ тревогу, сухой, длинный лейтенантъ Свитхартъ не вскочилъ бы стремительнѣе. Если бы батальонъ, вмѣсто того, чтобы повернуть по командѣ вправо, взялъ на смотру влево, его изумленіе не могло быть сильнѣе. Дѣйствительно, онъ услышалъ нѣчто крайне необычайное, выходящее изъ ряду. Старый и толстый рубака, майоръ Спаркль, комендантъ форта, — никогда не выказывавшій даже поползновенія справляться съ чѣмъ бы то ни было мнѣніемъ, —

вдругъ пожелалъ узнать, что онъ скажетъ? И, ворочая въ изумленіи бѣлками, комкая газету, которую читалъ, пока майоръ рылся въ почтовой сумкѣ, все еще не вѣря своимъ ушамъ, длинный и флегматичный лейтенантъ стоялъ истуканомъ. Что же такое могло случиться? Не взбунтовался ли гарнизонъ въ самомъ дѣлѣ? Нѣтъ, вся бѣда, очевидно, заключалась въ какой-то депешѣ.

— Что вы на это скажете, сэръ?—еще нетерпѣливѣе повторилъ, между тѣмъ, экспансивный майоръ, весь багровый отъ негодованія, судорожно комкая только что полученную телеграмму министра, такъ возмутившую и мистера Смита.

— Что я скажу, сэръ?

Лейтенантъ, наконецъ, пришелъ въ себя, взялъ депешу и прочелъ ее медленно и внимательно. Затѣмъ онъ прочелъ ее еще разъ, очевидно, не довѣря своимъ глазамъ. Затѣмъ, Богъ ужъ его знаетъ почему, полный изумленія, поднявъ высоко свои сухія плечи, прочелъ ее и въ третій разъ.

— Я думаю, сэръ,—я позволяю себѣ думать,—началь онъ съ обычной флегмой, хотя и пылалъ негодованіемъ,—что это величайшее, чортъ побори, свинство!..

— Слово въ слово, какъ и я, чортъ возьми!—подхватилъ майоръ.—И я тоже думаю,

лейтенантъ Свитхвартъ!, Даже больше, — съ моей точки зрѣнія, — сто залповъ чертей! — я думаю, что это даже не-вѣ-роятное свинство!..

Майоръ захлебнулся. Успокоившись, онъ въ пухъ и прахъ разнесъ всю индѣйскую политику правительства. Помилуйте, везти эту собаку, Чернаго Ястреба, въ Вашингтонъ! Да это уже не гуманничанье, а чистое сумасшествіе!.. И пусть его, майора Спареля, разстрѣляютъ безъ суда въ 24 часа, если все это не значить, что Черному Ястребу не придется болтаться въ петлѣ, которую тотъ несомнѣнно заслужилъ, и если его тамъ не поладятъ по головкѣ?.. Его, поднявшаго почти всѣ племена и осмѣлившагося два раза подрядъ на голову разбить регулярныя войска союза?! Съ такимъ трудомъ взятаго, наконецъ, въ плѣнъ?! Два милліона бомбъ, чиненныхъ чертями!!!

Старая одышка помѣшала майору продолжать свою энергическую тираду, и, кашляя и отдуваясь, старшій рубака только ворочалъ глазами, сверкавшими все большимъ негодованіемъ. Казалось, онъ совсѣмъ потерялъ голову и забылъ о престижѣ „коменданта“, — по крайней мѣрѣ, справившись съ одышкой, онъ продолжалъ еще энергичнѣе въ томъ же тонѣ, точно съ „равнымъ“ себѣ:

— Сто противъ одного! Лейтенантъ Свитхартъ, держу сто противъ одного, если всѣ эти „тамъ“,—губы майора выразили необычайное презрѣніе, —если всѣ эти политиканы съ ихъ дамами и филантропами не считаютъ эту собаку героемъ! Слышите, сэръ?—героемъ!—пусть съ меня живаго сдерутъ шкуру, если я вру! Да, лейтенантъ, Свитхартъ! Въ бараньихъ головахъ этотъ бунтовщикъ и сниматель скальповъ — герой!.. Щелкоперы и стригулисты печатаютъ ему оды и дѣлаютъ героемъ своихъ безмозглыхъ поэмъ, а всѣ барыньки декламируютъ и проливаютъ слезы! О, это старая исторія! Сначала насъ посылаютъ усмирять „героевъ“, а когда мы хорошо порѣжемся и справимся, наконецъ, потерявъ, чортъ побери, довольно таки мяса, — ихъ милуютъ и везутъ на показъ дамамъ!.. Это называется гуманною политикою! Будь я, сэръ, не майоръ Спарль, если я хоть чуточку смысла вижу въ такой политикѣ!.. Да, съ моей точки зрѣнія!.. Будь я не майоръ Спарль!..

Но такъ какъ не быть имъ майоръ немогъ, то, естественно, и смысла не могло быть въ такой политикѣ, что ясно выражало сухое, флегматическое лицо лейтенанта. Справившись съ новымъ приступомъ кашля, прервавшимъ его рѣчь, майоръ началъ мало по малу овла-

дѣвать собою. Всегда, при всякихъ взрывахъ негодованія; главное для него было—выговориться, и, выговорившись теперь, майоръ вспомнилъ о своемъ „престижѣ“.

— А, все-таки, сэръ, мы должны буквально исполнить предписаніе военнаго министра!

Этимъ восклицаніемъ, — вырвавшимся, правда, съ глубокою скорбью, — приходившій въ себя майоръ давалъ прекрасный урокъ дисциплины своему подчиненному и возстановлялъ свой, утраченный было, престижъ. Да, какъ ни возмутительно, какъ ни грустно, но исполнить должно, ибо послушаніе есть первый долгъ солдата. Всякое приказаніе должно исполнить, если оно не противорѣчитъ конституціи союза, и лейтенанту нужно всегда помнить это... Слышете, лейтенантъ Свитхартъ!?

И такъ какъ лейтенантъ это слышалъ, то майоръ сейчасъ же добавилъ съ глубокимъ вздохомъ:

— А настоящее, сэръ, ничѣмъ, къ сожалѣнію, не противорѣчитъ, — и кликнулъ сержанта Брума.

Глаза майора сверкали восторгомъ. Атлетическая фигура упитаннаго сержанта, этотъ хорошо подогнанный, точно обтянутый мундиръ, эти сверкавшія пуговицы и нашивки, прекрасная выправка, — все это вмѣстѣ глу-

боко затрогивало сокровеннѣйшія струны майорскаго сердца. Не спуская зоркаго, опытнаго глаза, онъ самодовольно любовался сержантомъ, какъ строгій отецъ своимъ достойнымъ дѣтищемъ. Все исправно, все на мѣстѣ, гладко, чисто, какъ должно, и пусть-ка тамъ посмотрятъ въ Вашингтонѣ политиканы, каковы-то должны быть дѣйствительные герои! Да, это — не краснорожій рѣзатель скальповъ; это — не глупыя перья и бляхи на взерошенной головѣ, не обтрепанныя индѣйскія лохмотья! Нѣтъ-съ! Это... это... ну, да, однимъ словомъ, пусть-ка они тамъ посмотрятъ, — если, конечно, у нихъ есть глаза, чтобы видѣть!

Экспансивный майоръ самодовольно потеръ руки, но тонъ его былъ сухъ и полонъ достоинства, конечно, когда онъ заговорилъ съ нижнимъ чиномъ.

— Сержантъ Брумъ, министръ требуетъ въ Вашингтонъ Чернаго Ястреба!

Въ сѣрыхъ глазахъ великолѣпнаго сержанта сверкнуло свирѣпое изумленіе, лицо его побагровѣло, но голосъ даже не дрогнулъ при обычномъ: „слушаю, господинъ майоръ!“.

— Я назначаю васъ конвоиромъ, а вы должны выбрать себѣ еще двухъ рядовыхъ... Можете взять Тобби или Крѣбса, хотя помните, что послѣдній любитъ засматриваться

но сторонамъ... По моему, лучше Тобби и Джонса, — не бѣда, если тотъ глядитъ медвѣдемъ! Впрочемъ, какъ знаете, это ваше дѣло и вы одинъ за все отвѣчаете!... Слышите, сержантъ Брумъ?

На это, естественно, могъ послѣдовать лишь утвердительный отвѣтъ, и майоръ продолжалъ:

— Надѣюсь, все будетъ исправно! Охранять до Мерезвиля будетъ эскортъ, доставившій почту!... Понимаете? Ступайте!

Сержантъ повернулся, и прелестнѣйшій пируэтъ самой воздушной балерины на свѣтѣ не могъ бы взволновать такъ майорское сердце, какъ это безукоризненное, образцовое „направо кругомъ“.

— Молодецъ! — проговорилъ старый рубака въ свои сѣдые, длинные усы. — Право, молодецъ! Только какъ бы ему не свернули шею ребята, если телеграмма стала извѣстна и тѣ вздумаютъ прибѣгнуть къ Линчу! Плохи шутки съ здѣшними ребятами!

Скоро весь фортъ негодовалъ по поводу новаго факта гуманничанья съ краснокожими, а къ этому негодованію, правду сказать, врядъ ли не присоединился бы и весь „западъ“. Давно уже разошлись востокъ и западъ въ своихъ отношеніяхъ къ индѣйцамъ, давно уже вели они глухую борьбу на этой

почвъ, обзывая другъ друга, съ одной стороны, „мясниками“, съ другой— „пустоголовыми филантропами“ и майоръ былъ правъ, говоря, что это „старая исторія“. „Молодцы запада“, непосредственно соприкасавшіеся съ индѣйцами, зарившіеся на ихъ свободныя земли, то и дѣло захватывавшіе куски этихъ земель то тутъ, то тамъ, за что платились, конечно, скальпами, звали индѣйцевъ „краснокожими собаками“, хотя на самомъ дѣлѣ относились къ нимъ хуже, чѣмъ къ собакамъ. Это была вражда органическая, традиціонная, переходившая изъ рода въ родъ. Для неутомимыхъ пахарей, глядѣвшихъ на свой трудъ библейскими глазами, номадь-охотникъ, защищавшій свои богатые дичью лѣса и степи, былъ только лѣнтяй, врагъ, существо низшее, достойное глубочайшаго презрѣнія и въ поголовномъ истребленіи этихъ номадовъ они видѣли бы свое благо. Для жителей восточныхъ штатовъ индѣецъ, извѣстный тамъ только по рассказамъ, описаніямъ, картинамъ, являлся, прежде всего, вольнолюбивымъ героемъ, окрашеннымъ поэзіей и романтизмомъ дикосвободной жизни. Дикій, независимый, полный презрѣнія ко всякой условной лжи, онъ фигурировалъ въ прелестнѣйшихъ поэмахъ и являлся красивою антитезой въ горячихъ трактатахъ публицистовъ, страстно бичевавшихъ меркан-

тилизмъ и ложь культурной среды и тупость мѣщанства. Съ искреннимъ сожалѣніемъ видѣли лучшіе дѣятели востока, что номадъ-охотникъ обреченъ самимъ ходомъ жизни на погибель и вымирание, но бороться съ этимъ не могли, ибо „ходъ жизни“, — постоянное, неуправляемое заселеніе преріи, — былъ сильнѣе всякихъ распоряженій и предписаній. Президенты и конгрессы издавали въ огражденіе номада правила за правилами, законъ за закономъ, но піонеръ-земледѣлецъ шелъ все дальше и дальше, его топоръ все больше распугивалъ дичь, единственный источникъ существованія номада, а остальное довершала водка и другіе спутники культуры. Извѣрившись въ обѣщанія одной стороны, дававшіяся подчасъ самимъ „отцомъ блѣднолицыхъ“, порѣшивъ, что бѣлые только лгутъ, — доводимый до отчаянія другою стороною, насиліями, захватомъ, самоуправствомъ, продолжавшимся вопреки „обѣщаніямъ;“ — индѣецъ отъ времени до времени выкрашивался краской, выходилъ на „боевую тропу“ и странно мстилъ врагамъ. Тогда правительству союза волей-неволей приходилось посылать войска въ защиту гражданъ; но какъ только мятежъ подавлялся оно почти всегда принимало мѣры къ огражденію возставшихъ отъ мести бѣлыхъ, противилось казнямъ, что возмущало „западъ“, гдѣ

на значительную часть семей приходилось непременно хоть по одному „скальпу“. Такая политика отличалась, может быть, непоследовательностью, мало помогала индѣйцамъ, создавала распрю между штатами, но люди, которые ее вели, дѣйствительно глубоко ненавидѣли всякое насиліе, самоуправство, проливаніе крови и казни. И правъ былъ майоръ, утверждая, что все это—дѣло шелкоперовъ и поэтовъ. Правъ онъ былъ, предлагая пари, что тамъ всѣ шелкоперы и барыни считаютъ Чернаго Ястреба героемъ. Да, когда тотъ такъ удачно разбилъ на голову посланнаго противъ него войска и „западъ“ скрежеталъ зубами, тамъ, на востокѣ, удивлялись его отвагѣ, искусству, а поэты дарили его звонкими рифмами. И громкій, почти общій крикъ всего „востока“, что уважать человѣка и героя нужно и въ побѣжденномъ врагѣ, раздавшійся послѣ плѣненія мятежнаго вождя, побудилъ министра потребовать плѣнника подъ видомъ допроса его въ конгрессѣ о причинахъ возстанія—въ Вашингтонѣ. И еще былъ правъ майоръ, когда увѣрялъ, что такимъ образомъ индѣецъ могъ ускользнуть отъ заслуженной петли,—въ Вашингтонѣ не любили казней... Допросъ могъ затянуться, страсти за это время могли улечься и мятежный вождь, чего доброго, надѣлавшій столько бѣдъ и тревогъ,

БЪ ВОСТОРГУ ВСѢХЪ ЦЕЛКОПЕРОВЪ И ИХЪ ПОБЛОННИЦЪ, МОГЪ БЫТЬ ПОМИЛОВАНЪ ПРЕЗИДЕНТОМЪ.

Г Л А В А Ш.

О томъ же и еще кое о чемъ, имѣвшемъ непосредственную связь съ извѣстнымъ уже чернымъ муломъ.

А „великій вождь краснокожихъ братьевъ“ сидѣлъ, скованный по рукамъ и ногамъ, въ крошечномъ казематѣ форта, ничего, конечно, не зная. Въ узкое рѣшетчатое окно виднѣлись только край ясно-голубаго неба да высокія отроги Скалистыхъ горъ, подернутые темно-фіолетовою дымкой, но гордому плѣннику точно ничего другаго и не было нужно, — его черные, неподвижные глаза не отрывались отъ окна... Эти горы будили воспоминанія, навѣвали думы, это онѣ заставляли стучать такъ громко сердце въ неподвижной, точно окаменѣвшей груди. У этихъ горъ бродилъ онъ ребенкомъ, тамъ росъ онъ, боролся съ буйволомъ и сѣрымъ медвѣдемъ, тамъ избрали его вождемъ, тамъ онъ, побѣдоносный, разбилъ на голову войска „блѣднолицыхъ со-

багъ“ и, наконецъ, тамъ же, разбитый въ свою очередь, попался въ плѣнъ... Все тамъ!...

Лицо индѣйца съ его строгимъ профилемъ осунулось, потемнѣло, на лбу прошли глубокия складки... Перья на головѣ, — знакъ его власти, — истрепались; скальпы, — трофеи великой борьбы, — отняты; красное одѣяло, истрепанное, изорванное въ бою, виситъ на его плечахъ лохмотьями. И только глаза его, черные, пронизывающіе, съ царственнымъ взглядомъ вождя, не измѣнились, не потухли, а горятъ еще ярче. Злобы ли стало въ нихъ больше, смѣлости, грусти-ли, — право, рѣшить трудно; но, полные каваго-то холоднаго огня, они неустанно устремлены на далекія горы и сверкаютъ неподвижнымъ, металлическимъ блескомъ. Изъ дня въ день неподвижно, точно статуя, отлитая изъ темно-красной мѣди, сидитъ съ плотно сжатыми руками индѣецъ, какъ бы не дыша, какъ бы застывъ въ одной и той же позѣ, и смотритъ, смотритъ и смотритъ... Такъ же сидитъ въ неволѣ и смотритъ поджарый, мускулистый горный воршунъ, пока не найдутъ его мертвымъ на полу его кѣтки...

Онъ знаетъ, что поднятое имъ возстаніе пяти племенъ кончено, что все разбито, погибло, что небольшія шайки, бродящія еще тутъ и тамъ, скоро будутъ переловлены, и

если бы человѣческая душа не обладала способностью какъ-то странно тупѣть отъ сверхъестественныхъ, выходящихъ за всякіе предѣлы мукъ, онъ сказалъ бы, что ему невыразимо больно. „Великій вождь“, онъ знаетъ, что пѣсня его спѣта, что не сегодня—завтра придетъ часъ казни, но не смерть, конечно, мрачить его взоръ, не она поднимаетъ его грудь судорожнымъ волненіемъ, подавляемымъ громаднымъ напряженіемъ воли. Чтò ему смерть, когда онъ видалъ ее такъ часто, когда онъ знаетъ, что отойдетъ къ Великому Духу пустыни, куда идутъ всѣ храбрые, что войдетъ онъ туда гордымъ вождемъ и получитъ почетное мѣсто у костра среди другихъ великихъ тѣней за общемою неугасимою трубкой! Развѣ не будутъ пѣть о немъ жены, не будутъ славить изъ рода въ родъ его „братья“? Нѣтъ, не это мучить гордаго воина, — другое лежитъ камнемъ на его душѣ... Чтò, если великія тѣни нахмурятся при его приходѣ и Великій Духъ скажетъ ему съ уворомъ:

— Ты вошелъ не какъ воинъ... Ты не спѣлъ врагамъ послѣдней пѣсни храбраго!

Вотъ что терзаетъ душу плѣнника неустанно, что страшнѣе ему самой смерти! Не дадутъ ему жестокіе враги умереть смертью воина, не будутъ длить его пытки, а быстро накинутъ позорную петлю подъ немочный гро-

хоть барабановъ, и умереть онъ безъ слова, какъ трусъ, какъ... Страшная, невѣроятная жестокость! И какъ бы хотѣлось ему, чтобы они, какъ должно врагамъ, медленно рѣзали его кривыми ножами, медленно сдирали съ него кожу, а онъ, непреклонный и гордый, съ торжествующимъ хохотомъ издѣвался бы надъ ними и бросалъ бы имъ въ лицо оскорбленія и проклятія... И много наговорилъ бы онъ этимъ „собакамъ“, много! Было у него что сказать имъ!

Началъ бы онъ съ того, что всѣ они—торгаши, живущіе обманомъ, что языки ихъ лживы. Онъ перечислилъ бы имъ всѣ обманы, всѣ нарушенія слова, всѣ бѣды, все зло, что вносили они годами въ среду его братьевъ. Болѣзни, голодъ, пьянство, нищета, — развѣ это не ихъ дѣло? Развѣ не старались они сѣять раздоры между племенами, чтобы удобнѣе завладѣвать землею, и развѣ не углублялись они, вопреки обѣщаніямъ, все дальше и дальше въ зеленую вольную прерію, отъ вѣка отданную для одной охоты индѣйцу? Лживые, гнустные торгоши! А когда во главѣ племенъ онъ поднималъ возстаніе, развѣ не бѣжали они отъ него, какъ подлые трусы?

Такъ думалъ Черный Ястребъ изо дня въ день, такъ думалъ онъ и въ роковой часъ утра, когда внезапно щелкнулъ засовъ и на по-

рогъ каземата появился майоръ Спаркль, окруженный конвоемъ.

Даже зоркій взглядъ майора не замѣтилъ, какъ индѣецъ вздрогнулъ. Ни одинъ мускулъ, казалось, не шевельнулся на этомъ точно изваянномъ лицѣ, только тѣнь какая-то пробѣжала, быстрая и неувимая, какъ судорога, не оставивъ на немъ и слѣда. Безстрастный и гордый, казалось, совсѣмъ безучастно поднялся индѣецъ и пошелъ за конвоемъ. Куда, — на казнь?..

Зеленая, волнистая прерія только что проснулась и, вся облитая румянымъ свѣтомъ яснаго утра, тихо дышала привѣтомъ и жизнью, полною свѣтлой радости и безмятежнаго счастья. Все кругомъ стрекотало, чирикало, пѣло, привѣтствуя всплывшее солнце, и высокая зеленая трава, колеблемая свѣжимъ утреннимъ вѣтеркомъ, налетавшимъ отдѣльными порывами, какъ бы вздохами, казалась длинными, вдаль убѣгавшими волнами, и тоже какъ будто шептала. Востокъ горѣлъ багрянцемъ, яркіе лучи котораго тянулись высоко по чистому голубому небу и незамѣтно и мягко, все блѣднѣя и блѣднѣя, тонули въ лазури зенита, гдѣ уже плавно кружился, широко распластавъ крылья, какой-то хищникъ. Тонувшіе въ небѣ высокіе вряжи Скалистыхъ горъ, одѣтыхъ темною дымкой утренняго ту-

мана, ярко горѣли всеѣми оттѣнками свѣта, отъ палеваго, похожаго на свѣтъ бѣлой тучки, освѣщенной вечернею зарей, до свѣта ярко пылающаго угля. Все было свѣтло, чисто, ясно, все манило къ себѣ, — все, проникнутое свѣжею радостію, — говорило только о томъ, какъ хороша жизнь... Такого чуднаго утра, казалось, еще не видѣлъ индѣецъ.

На казнь? — Нѣтъ въ Вашингтонѣ!..

Нужно было много воли, чтобы не выдать изумленія, сохранить на безстрастномъ лицѣ выраженіе невозмутимо-гордаго безучастія. Еще больше, казалось, нужно было усилій, чтобы понять и повѣрить... Неужели? Зачѣмъ? О, хитры, какъ лисицы, эти бѣлые собаки и всегда придумаютъ они какую нибудь ловушку, которую и не разберешь сразу!.. Но закаленное сердце индѣйца трепетало въ груди какъ то легко и свободно. Былъ ли то радостный трепеть инстинкта жизни, вызванный отдаленіемъ роковаго часа, или то была смутная, безсознательная надежда на что то, — онъ и самъ не отдалъ бы себѣ отчета.

— Лейтенантъ Свитхартъ, видите вы эту закаленность? — не выдержалъ возмущенный майоръ. — Хоть бы дрогнулъ, собака!.. Точно все равно ему, что въ петлю, что туда... Что вы скажете, сэръ?

— Я скажу, господинъ майоръ, что это возмутительная преступность!—отвѣтилъ долговязый лейтенантъ, не найдя сразу лучшаго выраженія.

— Слово въ слово, какъ и я, лейтенантъ Свитхартъ, чортъ побери! Слово въ слово!—поощрительно подхватилъ майоръ и, кипятясь все больше и больше, энергично принялся торопить великолѣпнаго сержанта Брума.

— Скорѣй!—то и дѣло кричалъ онъ, суетясь у фургона.—Сержантъ Брумъ, вы сегодня возитесь какъ квакерша съ псалмами! Рядовой Джонсъ, глядите молодцомъ, а не медвѣдемъ! Такъ! Эй, вы, саблю! Саблю подтяните, говорю я, сто бомбъ, чиненыхъ Вельзевуломъ!

И когда эскортъ плотно окружилъ фургонъ, а возница уже взялъ въ руки свой длинный бичъ, майоръ вдругъ крикнулъ съ досадой, какъ будто что то вспомнивъ:

— Сержантъ Брумъ и вы всѣ, слушайте!.. Помните, плѣнника нужно доставить не только живымъ, но и не вредимымъ! Слышите, сержантъ Брумъ?

Слышалъ это и плѣнникъ. То, что до сихъ поръ только смутно витало въ его трепетавшемъ сердцѣ, начало было выясняться, слататься въ цѣльное представленіе, сознатель-

ное живое... Да, онъ ясно слышалъ приказъ!.. Его будутъ беречь, конечно, до казни, чтобы на нее онъ выступилъ бодрѣмъ и сильнѣмъ, а не изнеможеннымъ, неспособнымъ выдержать долгую пытку. Онъ узналъ ее, тактику индѣйцевъ, родную тактику съ плѣнными врагами... Очевидно, тамъ хотѣтъ насладиться его казнью, посмотрѣть, какъ умираетъ индѣецъ... Неужели же въ самомъ дѣлѣ дадутъ ему враги умереть смертью героя?

И чуть слышный вздохъ какъ-то самъ собою вырвался изъ плотно сжатыхъ устъ индѣйца и потонулъ неслышно въ грохотъ мчащагося фургона.

А сержантъ и его спутники поняли этотъ дальновидный, предусмотрительный приказъ, конечно, иначе. Какъ истые сыны запада, они хорошо знали, какія чудеса творить иногда телеграфная проволока съ приказаніями, передаваемыми секретно, быстро дѣлающимися подчасъ общимъ достояніемъ совершенно неисповѣдимыми судьбами. Знали они, какъ чутокъ слухъ у „молодцовъ запада“ и какъ не любятъ тѣ церемониться съ приказаніями, приходящимися не по дугѣ. Такъ ли оно было или не такъ, но, во всякомъ случаѣ, приблизясь къ Мерезвилю, сержантъ Брумъ приказалъ остановиться, „подтянуться“ и осмотрѣть оружіе.

— Въ случаѣ чего, — глухо сказажъ онъ, хмурия брови и кидая на индѣйца презрительно-злюбный взглядъ, — въ случаѣ чего, ребята, сабли вонъ и — въ карьеръ!.. Таковъ приказъ! — вздохнулъ онъ, точно оправдываясь.

И послѣдовавшія событія какъ нарочно вполнѣ подтвердили высокій даръ предвидѣнія великолѣпнаго сержанта. Съ секретною депешой дѣйствительно произошло какое-то чудо, — она выгнала все вознегодовавшее населеніе Мерезвиля далеко за городъ на встрѣчу плѣннику. Несмѣтная толпа, дышавшая одною угрозой, волновалась и напряженно ждала. Молчаливый мистеръ Смитъ, весь синій отъ негодованія, лихо гарцовалъ на знаменитомъ черномъ мулѣ съ бѣлымъ пятномъ на лбу, а политикъ кэптэнъ Артуръ краснорѣчиво доказывалъ право гражданъ судить разбойниковъ судомъ Линча, несмотря ни на какія приказанія. Лишь только показался на дорогѣ эскортъ, толпа моментально смоледа, но только на мгновеніе. За напряженною минутною тишиной раздался общій крикъ: „Линчъ!“

— Загороди дорогу!... Они пустятъ въ карьеръ! — командовалъ выходившій изъ себя капитанъ волонтеровъ. — Загороди скорѣе!

Дорогу загородили телѣгами, на которыхъ съ разбѣга наскочили передовые конвоя. Грохнулись кони и люди подъ неистовый гомонъ,

раздались выстрѣлы, полетѣли камни, пошла отчаянная свалка... Сержантъ нашелся, — онъ проскакалъ въ объѣздъ съ фургономъ.

— Ну, слава Вогу, счастливо отдѣлались! — свободно ведохнулъ онъ, проскакавъ далеко за линію свалки. — Что-то еще впереди будетъ?

Подъ глазомъ у него чернѣла громадная сине-багровая шишка. У Джонса неудержимо лила кровь изъ разбитаго носа.

— И какъ подумаешь, что все это изъ-за гадины, которой давно бы слѣдовало качаться! — злобно прошипѣлъ онъ, оцупывая шишку, и толкнулъ ногой индѣйца.

Тотъ не дрогнулъ; только губы его точно побѣлѣли на мгновеніе, да глаза блеснули... О, онъ сумѣлъ бы отплатить, не будь у него связаны руки! А попадись ему сержантъ, когда онъ былъ вождемъ...

У Чернаго Ястреба дрогнули углы губъ, точно онъ хотѣлъ сладко улыбнуться.

ГЛАВА IV.

**Въ которой всецѣло оправдываются слова бравого
маіора.**

Проскакавъ сравнительно благополучно Мерзвиль, великолѣпный сержантъ вмѣстѣ съ его спутниками воочію убѣдились, какъ плохо хранить подчасъ телеграфная проволока вѣренныя ей тайны и какъ сильно расходится энергичное населеніе „запада“ съ „востокомъ“ въ „индѣйской политикѣ“. Гадаю съ тревогой о томъ, что будетъ впереди, сержантъ несомнѣнно обнаружилъ основательныя знанія мѣстныхъ условій и характера населенія. Истина, впрочемъ, требуетъ сказать, что худшаго, собственно, онъ и его спутники за Мерзвилемъ не встрѣчали. Вездѣ, во всякомъ городѣ, во всякой деревушкѣ они встрѣчали одно и то же — негодующую толпу, вооруженную чѣмъ попало, исполненную самаго страстнаго желанія „утереть носъ вашингтонскимъ филантропамъ“, познакомивъ плѣнника съ завѣтами старика Линча. Разница была только въ большей или меньшей мѣткости, съ какой направлялись то тамъ, то тутъ палки и камни въ тѣхъ, кто такъ

или иначе мѣшалъ исполненію такого страстнаго желанія и въ большемъ или меньшемъ напряженіи изворотливости, подчасъ положительно гениальной, которая требовалась отъ сержанта, чтобы „проскочить“ и, такимъ образомъ, свято выполнить приказъ строгаго майора. Не удивительно поэтому, что въ очень скорое время точили кровь носы всѣхъ конвоировъ, а ихъ лица представляли какую-то странную рельефную маску съ преобладаніемъ сине-багровыхъ и желто-зеленыхъ тоновъ. Ощупывая все новыя и новыя шишки, сержантъ Брумъ вздыхалъ только о „рѣкѣ“, за которой все должно было измѣниться.

— Только бы до рѣки! — вздыхалъ онъ. — Только бы проскочить эту желтую Миссури!

Плѣнникъ, крѣпко связанный, былъ предусмотрительно запрятанъ на самое дно фургона подъ сидѣнья и, такимъ образомъ, о силѣ бомбардировки могъ судить лишь по лицамъ своихъ конвоировъ. До него долетали только грохотъ, крики негодованія, шумъ свалки, ругань, стоны, но вся эта свирѣпая музыка, казалась, нисколько его не волновала, не интересовала, являлась точно самымъ обычнымъ, самымъ естественнымъ для него актомъ. Можно было думать, что плѣнникъ ничего не слышитъ или что все происходящее нисколько его не касается, — до того онъ былъ невозмутимъ

и равнодушенъ къ тому, что творилось во-
кругъ. Иногда только его черные глаза съ
какимъ-то ледянымъ выраженіемъ не то пре-
зрѣнія, не то злорадства или насмѣшки молча
скользили по лицамъ невольныхъ спутниковъ,
на моментъ останавливались на какихъ-нибудь
украшеніяхъ вродѣ новой шишки, и тогда
углы его плотно сжатыхъ губъ тихо дрожали,
точно ему приходилось сдерживать про себя
рѣзкое слово или злую улыбку. Тамъ было
снаружи, но внутри, гдѣ тоже были свои гла-
за и уши, только невидимые, жило и копо-
шилось другое. Тамъ, внутри, эта жестокая
ненависть враговъ, этихъ „блѣднолицыхъ со-
баекъ“, будила своеобразную радость, въ ко-
торой трепетали вмѣстѣ и гордость, и тще-
славіе, и сознаніе своего значенія и силы.
Досадилъ же онъ имъ, если всѣ они такъ
кипятятся, есть имъ, видно, что помнить!
Да, задалъ онъ имъ не мало!... Не можетъ
быть, чтобы при такой злобѣ съ нимъ покон-
чили быстро, не насладившись зрѣлищемъ дол-
гой пытки, не постаравшись вырвать изъ его
запекшихся устъ позорный стонъ малодушія.
Нѣтъ, не можетъ быть!...

Индѣецъ былъ спокоенъ...

Въ концѣ-концовъ, поѣздъ, все-таки, про-
скакалъ „рѣку“ и дѣйствительно, по мѣрѣ
того, какъ онъ удалялся отъ низаго, глини-

стаго берега желтой Миссури все дальше на востокъ, картина мѣнялась. Даже типъ и внѣшній видъ обитателей становился иной. Ихъ движенія не были уже такъ порывисты и рѣшительны, въ манерѣ держать себя совсѣмъ отсутствовало безнабашное удалство, рѣчь не пересыпалась чертями и божбою, шляпы не сдвигались на самые затылки, фланелевыя рубашки смѣнились сюртуками и длинные ножи за поясами, эти страшные „бовинофъ“ запада, не пугали робкій глазъ на каждомъ шагу. Ожесточенія и негодованія также становилось все меньше, нападенія прекратились, никакой тактики, чтобы „проскочить“ благополучно городокъ или деревушку, не требовалось. Прежнее отношеніе къ плѣннику смѣнилось любопытствомъ, интересомъ и порою даже чѣмъ-то вродѣ состраданія. Въ особенности стало это замѣтнымъ, когда всѣ они пересѣли въ вагонъ желѣзной дороги, добравшись, наконецъ, до крайняго тогда ея пункта. Какъ только публика узнавала, что везуть Чернаго Ястреба, великолѣпный сержантъ убѣждался съ горькою обидой, что онъ ступевывается, становится совсѣмъ какъ бы незримымъ, а всѣ глаза направляются исключительно на индѣйца. Да, на него одного! Съ „нимъ“ заговаривали, точно въ самомъ дѣлѣ съ человекомъ, а не съ собакой и разбойникомъ, ему предлагали

подчасъ угощенья, даже хлопали по плечу, — его, мятежника, рѣзателя скальповъ, пролившаго столько крови, истребившаго огнемъ столько чудныхъ фермъ!... Самолюбивый сержантъ дрожаль отъ негодованія.

Но индѣецъ тоже негодовалъ. Эти видимые знаки какого-то участія, интереса, вниманія, — все это, конечно, было лишь насмѣшкой, враждебной, злой, ядовитой! Недаромъ говорятъ дѣды, что въ ласкѣ „бѣлаго“ больше яда, чѣмъ въ слюнѣ гремучки, что змѣя жалить кусая, а „бѣлый“ — лаская. И, полный безмолвно-гордаго, холоднаго презрѣнія, индѣецъ отворачивался, на всѣ вопросы и ласки не удостоивая никого даже взглядомъ.

— Ну-ка, ну-ка! — ликоваль злорадно въ душѣ сержантъ, — посмотрите, голубчики, стоитъ ли это грубое животное вашей филантропіи! — и чуть не прыскаль отъ душиваго его смѣха, когда плѣнникъ, напримѣръ, грубо отталкиваль подносимую сигару.

— Ну, и озлобили же его! — ворчали про себя въ свою очередь пассажиры.

Несмотря на такое отношеніе индѣйца, всеобщіе интересъ и вниманіе къ нему вмѣстѣ съ участіемъ все росли и росли и положеніе сержанта становилось все болѣе щекотливымъ и даже обиднымъ. Иногда ему приходилось совсѣмъ солоно и требовалось много усилій и

воли, чтобы не выйти изъ роли конвоира и не показать „этимъ восточникамъ“, какъ „молодцы запада“ „чистятъ зубы“ зоиламъ. Въ качествѣ истаго сына Марса, бравый сержантъ имѣлъ неудержимую склонность къ прекрасному полу и разъ, когда въ вагонъ впорхнула одна изъ самыхъ дѣйствительныхъ представительницъ этого пола, онъ, естественно, пришелъ въ весьма понятное волненіе. Голубые, какъ небесная лазурь, глаза, темныя длинныя рѣсницы и нѣжныя кудри плѣняли сердце неотразимо и сержантъ немедленно принялъ мѣры выказать свое великолѣпіе во всемъ его блескѣ. Онъ щелкалъ шпорами, опирался на саблю, крутилъ рыжіе усы, продѣлывалъ, словомъ, все, что обыкновенно такъ быстро чаруетъ женское сердце, но, увы, въ данномъ случаѣ, по крайней мѣрѣ, все было тщетно. Миссъ Алиса и ея спутникъ, немолодой джентльменъ, ея отецъ, всецѣло усталились въ индѣйца.

— Это вождь?... Это Черный Ястребъ?— какъ бы задыхаясь отъ восторженнаго изумленія, спросила дѣвушка, даже не повернувшись, а только шевельнувъ своими чудными рѣсницами въ сторону сержанта.— Да?

Сержантъ встrepенулся и щельнулъ шпорами такъ жестоко, что могъ разбить въ дребезги даже каменное сердце.

— Такъ точно, миссъ!

Но красавица опять не повернулась, даже не кивнула головкой, а, раскрывъ свои чудныя губки отъ удивленія, такъ и уставилась восторженными глазами въ плѣнника.

— Вождь!—обратилась она вдругъ въ индѣйцу, вся вспыхнувъ,—великій вождь!—поправила она, краснѣя все больше и раздѣляя слога, чтобы говорить понятнѣе, — вы очень не любите насъ, бѣлыхъ? Да, всѣхъ не любите?

Въ тонѣ наивнаго вопроса этого полу-ребенка, полу-женщины ясно сквозило восторженное удивленіе и состраданіе, но индѣецъ остался, конечно, неподвиженъ и мраченъ, точно не слышалъ, или не понималъ вопроса.

— Онъ не понимаетъ?— снова бросила она вскользь крутившему усъ сержанту.

— О, миссъ, все понимаетъ! Отлично понимаетъ, только не хочетъ! Что прикажете дѣлать? Можно сказать, грубѣйшая скотина!— выпалилъ сержантъ Брумъ съ презрительною улыбкой.

Герой и—грубѣйшая скотина!

Теперь красавица повернулась къ сержанту, но лицомъ, полнымъ гнѣва и негодованія. Голубые глаза стали темнѣе ночи.

— Какъ вы позволяете себѣ, сэръ, такъ выражаться о вождѣ, о героѣ? Низко оскорблять плѣнника, сэръ! Недостойно!...

Подъ одобрительные взгляды и возгласы сосѣдей она дрожала, возмущенная, оскорбленная, негодующая, и была дивно хороша въ эту минуту. Сержантъ Брумъ сидѣлъ неподвижно, весь багровый, какъ сваренный ракъ, широко выпучивъ глаза и раскрывъ изумленно ротъ. Признаться, такой видъ былъ далеко не воинственъ и не великолѣпенъ. Онъ это чувствовалъ, но совсѣмъ не зналъ, какъ ему выйти изъ неловкаго положенія. Кстати, его выручилъ сѣдой джентльменъ, отецъ дѣвушки.

— Не плѣнникъ ли такъ отдѣлалъ васъ, сэръ?—спросилъ онъ, поднимая палецъ ровень съ лицомъ сержанта, хранившимъ ясные слѣды недавнихъ штурмовъ.— Не онъ ли, сэръ?

Сержантъ не понялъ, было ли то сочувствіе, или насмѣшка. Во всякомъ случаѣ, онъ былъ радъ внимательству другаго лица, прерывавшему напряженное безмолвіе, и глухо отвѣтилъ:

— О, нѣтъ, сэръ... Это наши...

— Ваши? То-есть кто же эти „ваши“?

— Наши, сэръ,—до рѣки!... У насъ въ преріи не любятъ филантропничать съ разбойниками и мятежниками!—вызывающе гово-

рялъ уже оправившійся сержантъ, самую ехидною ироніей вымѣщая испытанное пораженіе. — Ну, и хотѣли отбить!... Наши шутить не любить, сэръ!... У насъ живо: веревку на шею и...

Сержантъ выразительно показалъ рукою, что слѣдуетъ за „и“.

— Неужели эти ваши—палачи?—ехидно улыбаясь, спросилъ ближайшій сосѣдь стараго джентльмена. — Странное ремесло у вашихъ!...

— Палачи? Нѣтъ, сэръ, они славные ребята и хорошіе граждане союза!

— Сомнительно.

— Какъ?—Сержантъ пылалъ и, казалось, вызывалъ на бой цѣлый міръ глазами и выпяченной грудью. — Какъ?

— Конечно!—подхватилъ старый джентльменъ. — Хорошіе граждане не позволяютъ себѣ нападать на слугъ республики, исполняющихъ приказаніе конгресса, переданное министромъ. Конечно!... Это похоже на мятежь!...

Какъ ни льстило сержанту такое негодование по поводу вынесенныхъ имъ потасовокъ въ качествѣ конвоира, но любовь къ дорогому „западу“ взяла верхъ надъ всѣмъ. Все могъ онъ вынести, только не глумленіе надъ „молодцами прерій.“

— Нѣтъ! — гремѣлъ онъ. — Не мятежь это!... Нѣтъ, это — право гражданъ! Они

сами, чортъ побери, по-своему хотѣли расправиться съ...

— Значить, хотѣли поступить съ индѣйцемъ, какъ индѣйцы съ вами, по-своему... За что же зовутъ ихъ у васъ мятежниками?

— То индѣйцы, а то мы! — кипятился сержантъ.

— И вамъ менѣе простительно, чѣмъ полудикимъ индѣйцамъ! — перебилъ кто-то подъ общій хохоть, сквозь который рѣзко выдѣлялись отдѣльные выкрики:

— Вы самоуправцы!

— Мятежники сами!

— Всѣ возстанія индѣйцевъ вызываются вами же!

Этотъ хохоть, крики, обвиненія ~~совсѣмъ~~ было ошеломили сержанта, но онъ быстро пришелъ въ себя. Забывъ и выправку, и положеніе, повинувъсь проснувшемуся инстинкту, онъ ловкимъ движеніемъ руки, совсѣмъ не по формѣ, опрокинулъ кѣши на затылокъ, заложилъ руки въ карманы, раздвинулъ ноги, громко сплюнулъ и, стоя въ такой выразительной позѣ, готоваго на бой „молодца преріи“, крикнулъ во всю силу своихъ могучихъ легкихъ:

— Сто дьяволовъ возьми мою душу, если у насъ не такіе же вѣрные граждане союза, какъ и у васъ! Двѣсти дьяволовъ, джентль-

мени! Можетъ быть, у насъ хуже понимаютъ, какою собственно должна быть республика, что нужно отъ ея гражданина, но за каждую буьву въ этомъ словѣ, за каждую звѣзду на нашемъ знамени мы всѣ умремъ до одинаго, — всѣ, съ дѣтьми и внуками, граждане! Тысячу дьяволовъ съ самимъ Вельзевуломъ во главѣ! Вотъ, какъ!

Индѣецъ все видѣлъ, все слышалъ, но въ этомъ горячемъ спорѣ ему стало ясно одно, что и между бѣлыми какъ будто идутъ свои распри... Точь-въ-точь, какъ у краснокожихъ, гдѣ племена отъ вѣка враждуютъ другъ съ другомъ, гдѣ команчи ненавидятъ черноногихъ, тѣ, въ свою очередь, оседжей и т. д., и т. д. Старая это, но и грустная исторія, и не будь ея, можетъ быть, краснокожіе не уступили своей земли блѣднолицымъ. Неужели же и бѣлые дѣлятся на племена, враждующія другъ съ другомъ? Онъ думалъ всегда, что они всѣ за одно, что между ними нѣтъ распрей, несогласій и споровъ... Онъ думалъ, что всѣ они одно племя и что въ этомъ ихъ страшная, непреборимая сила.

И все время, пока сержантъ Брумъ говорилъ свое слово, пересыпанное чертами, невозможнѣйшими проклятiями и самою жестокою божбой, индѣецъ глядѣлъ вокругъ удивленными глазами.

Поѣздъ подлетѣлъ къ станціи и споры прекратились. Миссъ Алиса съ отцомъ направились къ выходу, но у самыхъ дверей вагона дѣвушка внезапно остановилась. Нѣсколько мгновений она стояла, казалось, въ какой-то нерѣшительности, точно колеблясь или рѣшаясь на что-то... И вдругъ рѣшилась!... Быстро шевеля красивыми длинными пальцами, она вынула изъ волосъ бѣлую кисть авачіи и, вся побагровѣвъ, кинула ее плѣтнику. Цвѣтокъ ударился о плечо и по складкамъ одѣяла на груди склатился къ индѣйцу на колѣни. Своими нѣжными лепестками онъ воснудся его жесткой, мускулистой руки... Индѣецъ какъ будто вздрогнулъ и невольно шевельнулъ рукою.

— А!—рѣшилъ онъ про себя,—навѣрное, скальпировалъ какого-нибудь жестокаго врага ея племени или рода!

И въ первый разъ еще онъ поднялъ на бѣлаго свои глаза безъ злобы и презрѣнія.

ГЛАВА V.

Изъ которой между прочимъ ясно, въ какое подъ-
часъ затруднительное положеніе могутъ ставить
своихъ мужей самая восхитительныя супруги.

Столица проснулась въ большомъ возбуж-
деніи. Еще наканунѣ сотни репортеровъ по-
летѣли на встрѣчу интересному плѣннику и
теперь столбцы всѣхъ газетъ пестрѣли описа-
ніями, впечатлѣніями и разказами объ этой
встрѣчѣ. Чернаго Ястреба разбирали на всѣ
лады: одни находили его „величественнымъ“,
другіе „грубымъ“, третьи „жестокимъ“, чет-
вертые „геніальнымъ“ и т. д.,—о немъ го-
ворили на всевозможные тоны, отъ ядовито-
остроумнаго, до тона исполненнаго торже-
ственности и пафоса. Но рѣшительно всѣмъ—
и находившимъ въ немъ нѣчто „царственное“,
и усматривавшимъ въ его лицѣ выраженіе
одной „дикой жестокости“,—всѣмъ приходи-
лось, къ сожалѣнію, констатировать общій
фактъ, что индѣецъ упорно отмалчивался на
всѣ вопросы и приставанія и, видимо, отно-
сился къ „бѣлымъ“ съ холодною, презритель-
ною злобой. Все это, казалось, дѣлало его
еще интереснѣе, загадочнѣе, и въ пыломъ

воображеніи очень многихъ мечтательно-романтически настроенныхъ „миссъ“ и „лэди“ какъ-то невольно вставалъ величественный образъ не то полубога-героя, не то загадочнаго сфинкса.

Близилось вакаціонное время и столица понемногу начинала скучать. Все уже пріѣдилось—и рѣчи ораторовъ, интересныя засѣданія конгресса, митинги, всевозможныя собранія и театры, концерты, даже балы. Весна манила уже въ зеленые, веселые луга, въ темныя рощи, одѣвшіяся свѣтлою, пахучею, недавно развернувшеюся листвою, къ синему морю, на роскошномъ берегу котораго такъ любятъ проводить лѣто вашингтонцы. Но установленный для того обычаемъ часъ былъ еще сравнительно далеко и волей-неволей приходилось сидѣть въ городѣ, коротать время день за днемъ среди однихъ и тѣхъ же пріѣвшихъ впечатлѣній. Въ это-то глухое время, когда всѣ рады любому, самому незначительному, лишь бы только новому явленію, и прибылъ въ столицу Черный Ястребъ.

Конечно, все ожило, встрепенулось, засуетилось,—явились живыя темы для разговоровъ и дебатовъ, нашлось куда дѣвать часы скучнаго досуга. Черный Ястребъ заполонилъ собою все; только и рѣчи было, что о немъ, только и желанія, что его увидѣть. Витрины

магазиновъ украсились его портретами, на которыхъ истрепанное одѣяло индѣйца преобразалось въ древне-римскую тогу съ ея красивыми складками, и пестрѣли картинами боевыхъ схватокъ, гдѣ Черный Ястребъ во всевозможныхъ видахъ и позахъ, то на бѣшенномъ конѣ, то на ногахъ съ неизмѣннымъ томагаукомъ въ рукѣ, выдѣлялся и величиной, и осанкой. Явились въ продажѣ даже духи, помада, мыла и много другой мелочи, о которой самъ индѣецъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія, подѣ его именемъ и съ его изображеніемъ. Видѣть настоящаго, дикаго индѣйца, да еще такого героя-вождя, такого красавца, каковымъ изображали его на картинахъ, современнымъ жителямъ столицы еще не приходилось, и Черный Ястребъ, безусловно, сталъ „модой“.

— Тобби! — томно говорила за завтракомъ, прелестная мистрисъ Барнаби своему мужу, очень вліятельному конгрессмену, въ то самое утро, какъ въ столицу прибылъ плѣнникъ, — милый Тобби, вы, конечно, знаете мои нервы?

— О, да, Бэтси, я знаю... Ужасные нервы! — быстро возразилъ мистеръ Барнаби, невольно вздрогнувъ и даже совсѣмъ забывъ планъ обдумываемаго было политическаго шага при одномъ напоянаніи о „нервахъ“. — Ужасные нервы!

— И вы помните, — столь же томно продолжала прелестная мистрисъ, — что довторъ безусловно запретилъ всякія противорѣчія?

— Какъ же, дорогая Бэтси, я отлично помню!... Противорѣчія вызываютъ истерію... Да, да! — вздохнулъ мужъ.

— Какъ вы милы, Тобби! — и томный взоръ, кинутый мистрисъ Барнаби мужу, былъ полонъ самой нѣжной благодарности. — Да, вы очень милы, Тобби! И вы, конечно, постараетесь достать для своей крошкн Бэтси входный билетъ къ плѣннику?.... Правда, Тобби? — и мистрисъ Барнаби совсѣмъ подѣтски склонила голову и лукаво надула губки.

— Входный билетъ, Бэтси? — Мистеръ Барнаби насупился. — Входный билетъ! Но, вѣдь, это очень трудно, почти невозможно. Вы знаете, Бэтси, что плѣнникъ еще не допрошенъ, что онъ въ распоряженіи военной власти, что...

Но томные глазки прелестной мистрисъ стали закатываться, высокая грудь судорожно заходила, предупреждая объ истеріи, и мистеръ Барнаби долженъ былъ вспомнить, что противорѣчія запрещены безусловно.

Съ этого утра вопросъ о „входныхъ билетахъ“ къ плѣннику сталъ самою жгучею темой въ семейныхъ разговорахъ. Возможность

добраться до индѣйца стала чѣмъ-то вродѣ крупнаго выигрыша въ лотерею или полученія интереснаго приза и ради нея пускалось въ ходъ все, даже интрига. Въ бомондѣ, въ средѣ его прелестной половины это стало даже чѣмъ-то обязательнымъ, и не видѣть „этого чуднаго Ястреба“ или „несчастливаго узника“ — значило бы почти то же самое, что явиться, наприимѣръ, на оффиціальнѣйшій балъ, въ „Бѣлый Домъ“, въ домашнемъ капотѣ. Изъ-за первенства, изъ-за того, кто увидитъ скорѣе, пошли даже ссоры и ходили шутки, что изъ-за возгорѣвшейся такимъ образомъ войны женѣ немного пострадала группировка партій въ конгрессѣ. Счастливицы, добравшіяся, благодаря протекціи и связямъ, до узника, подзадоривали другихъ увѣреніями и восклицаніями, что онъ „душа“, „величественный“, „гордый“, „ахъ, какой!“ и т. д., расписывали на всѣ лады свое „восхищеніе“, увѣряли, что плѣнника „непремѣнно нужно выпустить“, бранили „этихъ противныхъ западниковъ, которые его такъ озлобили“, и всѣмъ этимъ, конечно, только подливали въ огонь масла. „Миссъ“ и „лэди“ только и говорили, что о входныхъ билетахъ, не давали поволя ни мужьямъ, ни женихамъ, ни знакомымъ, и непрекрасная половина, всѣ конгрессмены и бизнесмены, имѣвшіе связи и влія-

ніе, правду сказать, возроптали и въ глубинѣ души предавали анафемѣ ни въ чемъ, въ сущности, неповиннаго въ этой кутерьмѣ индѣйца. „Мода“ мало-по-малу охватывала всѣ сферы.

Мистрисъ Стэръ, благоразумнѣйшая изъ женъ, по увѣренію ея супруга, банкира, какъ только узнала отъ своей подруги, прелестной Бэтси, что та добралась-таки до плѣнника, какъ только услышала ея восторги,—провела бессонную ночь и заболѣла мигренью. Положительный банкиръ, немного встревоженный извѣстіемъ о болѣзни, придя въ спальню жены, увидѣлъ среди батиста, кружевъ и блондъ такое истомленное, болѣзненное и печальное личико, съ такимъ страдальческимъ выраженіемъ въ милыхъ глазкахъ, что сейчасъ же хотѣлъ сзывать консиліумъ.

— О, Джемми, зачѣмъ эти расходы?—совсѣмъ умирающимъ голосомъ, еле-еле проговорила благоразумная больная, никогда не забывавшая интересовъ супруга.—Вы знаете, что врачи никогда не понимаютъ нашихъ женскихъ страданій... Наша организація...

— Но, мой другъ, вы совсѣмъ больны!—перебилъ ее не на шутку перепуганный банкиръ,—у васъ ужасный видъ!... Я боюсь...

— Благодарю, милый Джемми, у васъ золотое сердце и я всегда это знала,—отвѣчала

больная, видая на мужа взглядъ, отъ котораго совсѣмъ размякло его „золотое“ сердце. — Но я не хочу врачей. Нѣтъ, Джемми, это нервы! Лучше всего небольшая прогулка... развлеченіе...

— Такъ зачѣмъ же дѣло стало, милая Мэри, поѣзжайте куда хотите.

— А входный билетъ, Джемми? Мнѣ такъ хочется видѣть этого плѣнника. Всѣ къ нему ѣздить, только я... одна я!...—и крупныя слезы покатались градомъ изъ глазъ мистрисъ Мэри.

— Входный билетъ?... Но, вѣдь, это такъ трудно. Вы знаете... я не членъ конгресса, не принадлежу къ администраціи!—взволновался банкиръ.—Да и что тамъ интереснаго, Мэри? Грубый дикарь...

— О, Джемми!—Мистрисъ Мэри рыдала.

— Конечно, грубый дикарь и только!—продолжалъ все больше волновавшійся и сердившійся супругъ.—Эти входные билеты всѣхъ сбили съ толку! Право, лучше было бы, если бы этого дикаря вздернули на Западѣ!

— Вздернули?!—Мистрисъ Мэри совсѣмъ разрыдалась и подняла руки къ головѣ.

— Идите, Джемми!—негодующе говорила, рыдая благоразумнѣйшая супруга. — Идите! Я не могу слышать такой жестокости! —

Идите же и вздергивайте... Идите и не мучьте меня!...

И проклиная въ душѣ всѣхъ яндѣйцевъ на свѣтѣ, моды и вапризы женщинъ, уничтоженный банкиръ долженъ былъ появляться во что бы то ни стало достать этотъ проклятый билетъ.

— А, все-таки, ей-Богу, было бы лучше, если бы его тамъ вздернули! — вздохнулъ онъ про себя, направляясь въ свою контору, и, правду сказать, такое мнѣніе раздѣляли съ нимъ теперь очень многіе представители некрасивой половины бомонда въ Вашингтонѣ.

А индѣецъ напрягалъ всѣ силы своего мозга, чтобы понять все то, что творилось у него передъ глазами. Дивій сынъ степей, ошеломленный условіями и картинами совсѣмъ неизвѣстнаго ему, новаго быта, — онъ, казалось, растерялся и на первыхъ порахъ ничего не могъ ни уяснить, ни сообразить. Вождь и воинъ, онъ не могъ понять ни этихъ какъ бы ласкъ, ни участія, ни этого ухода и удобствъ, почти роскоши, расточаемыхъ ему исконными, смертельными врагами; узникъ и врагъ, обреченный на казнь, рассчитывавшій на самую лютую пытку, — онъ не могъ вѣрить намекамъ и даже порой прямымъ увѣреніямъ, что ему не сдѣлають зла, что его выслушаютъ, дабы помочь его братьямъ. А,

между тѣмъ, все это было не сонъ, не сказка, — все это стояло передъ нимъ неотразимымъ фактомъ и въ этомъ фактѣ нужно было такъ или иначе разобраться. А какъ разобраться, когда въ прошломъ не было для этого прецедентовъ, когда все это прошлое учило лишь одному, что „бѣлые“ — враги, исконные и непримиримые, что слова ихъ и обѣщанія лживы, что они хитры, какъ лисицы? Какъ разобраться, когда все, что было сдѣлано ими, ихъ отцами и дѣдами, все это завѣщало его сердцу одну непримиримую вражду?

Онъ допускалъ, что и у бѣлыхъ, какъ и среди его братьевъ, есть свои распри, что они тоже дѣлятся на племена, враждующія между собою. Врагъ его враговъ, тѣхъ, что разбилъ онъ на голову, что скальпировали его воины, могъ быть, вонечно, ему другомъ... Но не въ средѣ же онъ отдѣльнаго, чуждаго другимъ и враждебнаго племени, — онъ въ самой столицѣ, откуда идутъ всѣ распоряженія и законы, гдѣ живетъ самъ отецъ блѣднолицыхъ, которому они повинуются и подчиняются, который распоряжается войсками! Что же значать эти улыбки, цвѣты и сласти, которыми надѣляютъ его здѣсь красивыя жены „бѣлыхъ“, эти дружескіе разспросы ихъ мужей и братьевъ, эти ободряю-

щіе намеки? Что же значить, наконецъ, это удобство и роскошь его тюрьмы, о какихъ никогда и не снилось индѣйцу, какихъ онъ не видѣлъ даже у „бѣлыхъ“ въ ихъ пограничныхъ фермахъ?

Сердце его билось враждою, умъ пылалъ недовѣріемъ и подозрѣніемъ, — прошлое рисовало одно зло и горе. Этимъ ласкамъ, участію, вниманію, уходу онъ, конечно, не долженъ былъ вѣрить. Все это ложь, обманъ, за которыми кроется втихомолку, затаенно обдумываемое зло, — такъ учили его еще дѣды. Вождь, онъ долженъ быть на сторожѣ! Онъ помнилъ рассказы о подкупахъ бѣлыми золотомъ и лаской, онъ самъ зналъ, какъ позорно измѣняли своимъ и племена, и вожди...

Онъ понялъ, наконецъ, что его хотѣли купить.

Индѣецъ невольно поднялся, выпрямился, глаза его блеснули злобнымъ огнемъ, уста искривились злобщею улыбкой. Если бы они пустили его назадъ, къ „своимъ“, онъ показалъ бы имъ, какъ продается Черный Ястребъ! Еслибъ онъ могъ ихъ обнять всѣхъ сразу своими стальными руками, имъ не приходилось бы никогда уже думать о подкупѣ индѣйца! Купить! Купить! Еслибъ онъ могъ зажечь самую землю со всѣмъ, что хранять ея глубокія нѣдра, и похоронить въ этомъ пламени

всѣхъ своихъ братьевъ, — лишь бы испепелить населеніе блѣднолицыхъ, — онъ бы, конечно, это сдѣлалъ. Купить! — затрепетало злобнымъ смѣхомъ все, что наполняло его душу... Пусть на него посмотрятъ, моргнетъ ли онъ глазомъ, когда они будутъ тянуть изъ него жилы!

И взглядомъ, полнымъ величественнаго презрѣнія, полнымъ невыразимой злобы, встрѣчалъ онъ всѣхъ блѣднолицыхъ, безразлично, были ли то скучавшія дамы бомонда съ ихъ улыбками, цвѣтами и сладостями, были ли то серьезные ученые, желавшіе узнать отъ него о бытѣ индѣйцевъ, члены конгресса, требовавшіе отъ правительства болѣе широкой гуманности по отношенію къ краснокожимъ, или, наконецъ, репортеры газетъ, громившихъ жестокость бѣлыхъ, населяющихъ пограничную область съ территоріей индѣйцевъ. Этимъ взглядомъ онъ, казалось, говорилъ имъ, какъ легко его купить! И тѣ, что встрѣчали этотъ взглядъ, если они умѣли понимать его выраженіе, невольно содрогались, — до того краснорѣчиво говорилъ онъ имъ о томъ, что внесла ихъ культура въ среду челоуѣка-номада.

Обыкновенно плѣнники сидѣли неподвижно и молча, согнувшись, уткнувъ сложенные руки въ колѣни, ни на кого и ни на что не глядя, и какъ бы ничего не понимая. Посѣтителемъ

могло казаться, что онъ погруженъ въ одну глубокую, сосредоточенную думу, изъ которой не хочетъ и не можетъ выйти. Когда входившіе хлопали его по плечу и, улыбаясь, говорили какое-нибудь привѣтствіе, онъ молча принималъ на мгновеніе голову, молча обидывалъ ихъ быстрымъ, пронизывающимъ взглядомъ и сейчасъ же вновь принималъ обычную позу, точно все, что творилось кругомъ, всѣ эти привѣтствія, улыбки, приношенія относились не въ нему. Такъ же неподвижно и молча встрѣчалъ онъ всѣ разспросы и даже назойливыя приставанія репортеровъ. Снаружи, это былъ какой-то манекенъ-человѣкъ, но только снаружи. Внутри, подъ этою видимою оболочкой безучастія и покоя, вѣчно на-сторожѣ, страстно жило невидимое внутреннее оwo, зорко слѣдившее за каждымъ шагомъ, каждымъ жестомъ враговъ. Каждый часъ, каждую минуту оно подозрѣвало и ждало хитрыхъ ловушекъ, на которыя такіе мастера эти „блѣднолицыя собаки“ и въ которыя такъ часто и такъ легко попадали наивныя дѣти пустыни.

Но разъ, когда самъ министръ, обвуженный посѣтителями, предложилъ ему вопросъ: отчего его братья такъ ненавидятъ бѣлыхъ, онъ раскрылъ свои плотно сжатые уста... И если у тѣхъ, что стояли тогда вокругъ него, были сердца, они должны были сжаться отъ

боли и стыда за тѣ бѣды и страданія, насиліе и горе, о которыхъ говорилъ вождь этими странными гортанными звуками, этою наивною, неправильною, ломанною рѣчью!.. И если была у нихъ совѣсть, она должна была проснуться и, охвативъ встревоженные души порывомъ раскаянія и жгучей скорби, побудить „враговъ“ отказаться отъ своей неправды. За что ненавидятъ „бѣлыхъ“?—спрашивалъ вождь, и глаза его горѣли, и губы дрожали,—а пролитая кровь его братьевъ, а отнятыя земли, а насилія и обманы!—Гортанные звуки, полные обиды, боли и злобы, рѣзали ухо,—страшная повѣсть о насиліяхъ невольно терзала сердце... Нѣтъ, лучше, умереть въ бою, какъ воинамъ, чѣмъ нести долгие такое гнусное иго, лучше смерть подъ самою лютою пыткой!.. Такъ рѣшили его храбрые братья!

Онъ говорилъ не въ защиту своихъ, онъ не просилъ ни состраданія, ни пощады, онъ видалъ въ лицо „бѣлыхъ“ обвиненіе. То былъ не узникъ, не плѣнный, — передъ ними съ горѣвшимъ лихорадочнымъ взглядомъ, съ гордою осанкой стоялъ „великій вождь“, не знавшій примиренія, понимавшій только два исхода: смерть или побѣду.

Лицо министра стало блѣдно, на лбу у него прошла глубокая складка.

— А жаль, — вздохнул онъ, выходя на улицу, — право, глубоко жаль этихъ наивныхъ, какъ дѣти, дикарей... Много, вѣдь, у него правды!

— О, конечно! — отвѣтилъ также грустно его спутникъ, вліятельный членъ конгресса. — Конечно, онъ говорилъ правду!... Но съ фатумомъ нельзя бороться... Ихъ гибель при столкновеніи съ культурой — фатумъ! Что бы мы ни предпринимали въ ихъ защиту, прерія, все-таки, будетъ принадлежать земледѣльцу!

ГЛАВА VI.

Нѣчто о сладкозвучной сиренѣ и закоснѣломъ сердцѣ.

Дни пролетали за днями и плѣнникъ мало-по-малу началъ приходить въ волненіе, скрывать которое становилось ему все труднѣе. Нервы не выдерживали этого напряженнаго ожиданія, этого томительно-лихорадочнаго подзрѣнія съ часу-на-часъ подвоховъ и ловушекъ со стороны враговъ, давно, конечно, осудившихъ его на лютую казнь, отложенную лишь, можетъ быть, въ надеждѣ на его из-

мѣну; на то, что, подкупленный ихъ лаской, онъ предастъ своихъ. Какъ ни прислушивался индѣецъ, какъ ни ловилъ подозрительнымъ слухомъ каждое слово, враги, попрежнему, не обнаруживали ясно своихъ тайныхъ цѣлей и возней, попрежнему, продолжали дарить его тонео рассчитанными улыбками и участіемъ, попрежнему, осыпали своими разспросами. О, хитры же эти бѣлая собаки! Но, такъ или иначе, изъ такого напряженнаго состоянія нужно было выйти, нужно было показать имъ, что ихъ надежды напрасны, что ничего, кроме казни, какой угодно, самой жестокой, онъ, великій вождь, отъ нихъ не приметъ!

И съ каждымъ днемъ Черный Ястребъ становился все угрюмѣе, все большею злобой дышали его взоры, все страстнѣе и напряженнѣе ждалъ онъ грядущаго объясненія.

И оно пришло. Разъ ему сказали, наконецъ, что завтра навѣститъ его важное, всѣми уважаемое лицо, знаменитый проповѣдникъ, который хочетъ поговорить съ нимъ по душѣ, какъ съ другомъ...

Съ другомъ! Индѣецъ захохоталъ про себя. Хорошо, онъ выслушаетъ этого "друга"! И онъ тоже найдетъ для него „дружеское“ слово! Хорошо, пусть придетъ „этотъ другъ“!

Наконецъ-то! нахмуренное чело плѣнника разгладилось. Эту ночь онъ проспалъ дѣтски-спокойно.

Мистеръ Черчмэнъ, знаменитый проповѣдникъ, самая яркая звѣзда новой модной секты, потрясавшій и умилавшій сердца всѣхъ посѣтительницъ молебни, рѣшилъ пойти къ озлобленному индѣйцу, и объ этомъ, конечно, громко заговорила вся секта. Онъ рѣшилъ пойти къ нему „съ масличной вѣтвью примирѣнія“, съ проповѣдью любви и прощенія на своихъ полныхъ, красивыхъ губахъ,—рѣшилъ „потрясти это озлобленное, гордое сердце“, и своимъ могучимъ словомъ, творившимъ такія чудеса съ сердцами бомонда, „озарить его свѣтомъ истины“. Конечно, это было трудное дѣло, это былъ цѣлый подвигъ, но на то же онъ былъ и мистеръ Черчмэнъ. Въ цѣломъ Вашингтонѣ никто не умѣлъ такъ глубоко и совершенно вздыхать о севернахъ міра, никто не умѣлъ такъ страстно бичевать порока, никто не умѣлъ, вперивъ свой пронизывающій взоръ прямо въ сердце прелестной грѣшницы, такъ страстно рисовать прелести искупленія. Мистеръ Черчмэнъ не сомнѣвался, что онъ сотворитъ чудо, что этимъ чудомъ онъ прибавитъ новый лучъ къ своему ореолу. Дивій и наивный сынъ степей, трепещущій въ ожиданіи возмездія и казни за свои преступленія, никогда не слылавшій ничего о любви и прощеніи, онъ падетъ ницъ, конечно, передъ этимъ но-

вымъ словомъ и всецѣло раскается въ своихъ заблужденіяхъ. Мистеръ Черчмэнъ попробуетъ превратить врага въ брата!

И они встрѣтились: онъ, знаменитый проповѣдникъ, готовый сотворить чудо, способный оживлять камни, и этотъ хмурый, гордый вождь, дикій и съ виду безстрастный, полный ненависти, которой лихорадочно горѣли его глаза, полный страстнаго желанія поскорѣе разоблачить эту томительную „игру“ бѣлыхъ. Мистеръ Черчмэнъ, по обыкновенію, вошелъ торжественно, медленно и важно, весь въ черномъ, смиренно и глубоко-мысленно потушивъ свои взоры. Дойдя до узника на шагъ, онъ остановился и поднялъ глаза.

Индѣецъ смотрѣлъ на него прямо въ упоръ...

Говорять, когда гремучка поймаетъ взглядъ робкаго степнаго кролика, тотъ не можетъ оторвать уже своихъ глазъ, не можетъ двинуться съ мѣста, впадая въ какую то странную каталепсію. Нѣчто аналогичное испытывалъ и мистеръ Черчмэнъ. Этотъ горѣвпій, какъ у волка, взглядъ приковалъ его къ мѣсту, эти два глаза вонзились въ него точно гвозди. Чара какой то силы, казалось, крылась въ нихъ, и нѣсколько мгновений знаме-

нитый проповѣдникъ простоялъ молча, какъ бы растерявшись, совсѣмъ забывъ заранѣе обдуманнѣйшій планъ покоренія озлобленнаго индѣйца. Наконецъ, онъ совладалъ съ собою, вспомнилъ и, не спуская глазъ, важно и глухо произнесъ:

— Здравствуй, братъ мой!

Индѣецъ всрепенулся весь, точно дикая птица, когда человѣкъ вплотную подойдетъ къ ея кѣткѣ.

— Развѣ бѣлые намъ братья? — спросилъ онъ своимъ рѣзкимъ гортаннымъ голосомъ, хмуря въ удивленнѣйшѣй степени брови и чуть-чуть улыбаясь.

— Да, братья!

Мистеръ Черчмэнъ совсѣмъ оправился; разговоръ начинался именно такъ, какъ онъ обдумалъ заранѣе.

— Да, бѣлые братья тебѣ, Черный Ястревъ! — повторилъ онъ тѣмъ же торжественнымъ тономъ, что производилъ такой фуроръ въ его молельнѣ.

И мистеръ Черчмэнъ началъ свое заготовленное слово. Рѣчь его, полная образовъ и аналогій, лилась плавно и свободно, тонъ его голоса красиво вибрировалъ, повышаясь и понижаясь. Онъ то гремѣлъ бурными раскатами, то мгновенно стихалъ до бархатнаго шепота, пріятно ласкавшаго ухо. Мистеръ

Черчмэнъ говорилъ о великомъ ученіи любви, исповѣдуемомъ бѣлыми, о завѣтахъ и терновомъ вѣнцѣ великаго Учителя, призывавшаго всѣхъ къ единенію и братству, завѣщавшаго людямъ миръ и смиреніе. Мистеръ Черчмэнъ бичевалъ ненависть и злобу, называлъ грѣхомъ насиліе, обманъ и пролитіе крови. Всѣ люди на землѣ братья и всѣ должны любить другъ друга, должны прощать свои обиды. Великій Учитель завѣщалъ людямъ всепрощеніе и милосердіе. Черный Ястребъ, если онъ не хочетъ поплатиться страшнымъ наказаніемъ, долженъ сознать свои заблужденія, долженъ отрѣшиться отъ своей злобы.

— А! — вырвалось у индѣйца.

— Просвѣтись же, Черный Ястребъ, и стань изъ врага братомъ! — закончилъ торжественно проповѣдникъ.

Индѣецъ слушалъ молча, ни одинъ мускулъ его лица не дрогнулъ и только глаза его мѣняли порой выраженіе. За то сердце его трепетало и билось такою злобой, что иногда у него почти не хватало силы сдержать ее и не выдать. Вотъ, онъ, наконецъ, настоящій ходъ бѣлыхъ! Лисица показала свою тропу!... Хорошо же, и у него найдется свое слово, онъ отвѣтитъ, какъ и должно великому вождю!... Но онъ еще сдержалъ себя.

— И бѣлые исповѣдуютъ это ученіе? — спросилъ онъ, причемъ гортанные звуки его голоса слегка дрожали.

Мистеръ Чѣрчмэнъ уловилъ это дрожаніе и торжествовалъ побѣду.

— Да, Черный Ястребъ, это ихъ ученіе.

— И тѣ бѣлые, что живутъ за рѣкой?

— Да, и тѣ.

Сдерживать себя дольше было не нужно.

— Ты агунъ, блѣднолицый! — съ невыразимымъ презрѣніемъ и въ тонѣ, и въ лицѣ отвѣтилъ индѣецъ. — Ты гнусный лжець, какъ и всѣ твои братья! Но такой гнусной лжи еще не слышало мое ухо!

Пораженный мистеръ Чѣрчмэнъ отступилъ на шагъ. Или онъ ослышался, или индѣецъ рехнулся... Но тотъ, задыхаясь отъ негодованія и презрѣнія, своею отрывистою, построенною такъ неправильно рѣчью приводилъ проповѣдника все въ большее смущеніе. Онъ давно понималъ, что бѣлые хотятъ его купить, какъ не разъ покупали его братьевъ. Они отдаляли его казнь и ухаживали за нимъ, надѣясь на измѣну. Но великій вождь не измѣнитъ и спокойно пойдетъ на казнь. Блѣднолицые — собаки, которыхъ онъ глубоко презираетъ и словамъ которыхъ не вѣритъ. Сѣрый медвѣдь менѣе лютъ и шакаль менѣе трусливъ, чѣмъ бѣлый. Онъ покажетъ имъ,

какъ умираеть воинъ! Бѣлые дышать злобой и полны ядомъ, какъ гремучая змѣя... Не самъ ли блѣднолицый сказалъ ему, что они казнили своего великаго Учителя? И послѣ того онъ пришелъ увѣрять его, что враги кротки?!... Лжець!

Мистеръ Чёрчмэнъ ушелъ совсѣмъ уничтоженный.

Конечно, адепты враждебныхъ сектъ его осмѣяли. Не нужно брать на себя слишкомъ много, ко всякому дѣлу нужно подходить осторожно, зрѣло обдумавъ каждое слово. Черный Ястребъ былъ совершенно правъ, встрѣтивъ такъ подобный апломбъ, подобную самоувѣренность, ни на чемъ не основанную. Въ такихъ дѣлахъ нельзя дѣйствовать круто и сразу, тутъ много значить постепенность, и мистеру Чёрчмэну непременно нужно зарубить это на своемъ длинномъ носу!

Друзья же проповѣдника обвиняли во всемъ жителей „запада“, такъ сильно озлобившихъ этихъ наивныхъ дикарей, и, конечно, послѣдователей враждебныхъ сектъ, не постаравшихся раньше внести къ нимъ „истиннаго свѣта“.

Эта полемика печаталась на столбцахъ безчисленныхъ газетъ, и безъ того удѣлявшихъ очень много мѣста разговорамъ и разсужденіямъ о Черномъ Ястребѣ. Печать, какъ и обще-

ство, начинала уже шумѣть и волноваться изъ-за долгаго заключенія узника, обвиняя министерство въ проволочкѣ допроса. Такъ могли поступать, конечно, только съ индѣйцами, съ которыми всегда поступаютъ незаконно и несправедливо! Бѣлый, несомнѣнно, былъ бы уже давно допрошенъ и, во всякомъ случаѣ, его не томили бы въ заключеніи. Да, конечно, этотъ допросъ разоблачилъ бы ужасныя вещи, онъ обнаружилъ бы всю жестокость, всю несправедливость „бѣлыхъ“ и всю дряблость правительства союза, не умѣющаго энергически встать на защиту несчастныхъ дикарей, онъ оправдалъ бы возстаніе этихъ несчастныхъ дѣтей прерій, доведенныхъ до отчаянія, но пора же, наконецъ, взглянуть на дѣло какъ оно есть, трезвыми глазами, пора сознать свои ошибки и постараться ихъ исправить. Черный Ястребъ былъ совершенно правъ, когда не повѣрилъ, что бѣлые исповѣдуютъ великое ученіе любви и мира, и пока дѣло будетъ стоять такъ, какъ оно стоитъ, ни одинъ индѣецъ, конечно, этому не повѣритъ никогда.

Такъ говорила печать, то же повторяло все общество и министерство чувствовало себя, правду сказать, въ большемъ затрудненіи. Это затрудненіе крылось не въ допросѣ плѣнника, — допросить можно было всегда — оно

заключалось въ невозможности рѣшить вопросъ: какъ быть съ плѣннымъ вождемъ послѣ допроса, что съ нимъ дѣлать? О казни, хотя Черный Ястребъ и былъ осужденъ военнымъ судомъ, не могло быть, конечно, и рѣчи и помилованіе президентомъ было несомнѣнно, — но что же съ нимъ дѣлать дальше? Отпустить его къ своимъ — значило впереди имѣть новое возстаніе, можетъ быть, болѣе страшное, чѣмъ то, съ которымъ только что справились съ такимъ трудомъ. Держать его здѣсь, — подъ какимъ предлогомъ? И волей-неволей, подъ разными предлогами, то отговариваясь текущими дѣлами, то необходимостью собрать новыя справки о возстаніи, министерство оттягивало дѣло въ тайной надеждѣ на какой-нибудь случай, на какую-нибудь неожиданную комбинацію, которая поможетъ ему выйти изъ такого затрудненія. Ожидая запроса въ палатѣ, оно готовилось заявить, что судьбой плѣнника займется лишь послѣ того, какъ возстаніе будетъ усмирено окончательно и конгрессу будетъ предложенъ цѣлый рядъ реформъ съ цѣлью учушенія положенія индѣйцевъ.

По счастью, въ Вашингтонѣ жилъ мистеръ Смартбой, глава фирмы „Смартбой и К“, владѣвшій громаднымъ магазиномъ и складомъ всевозможныхъ товаровъ, занимавшими

цѣлый кварталъ. Ходила остроумная легенда, будто мистеръ Смартбой родился на свѣтъ какъ разъ въ тотъ именно счастливый моментъ, когда геній какого-то почившаго финансиста, блуждая въ эфирѣ, искалъ себѣ на землѣ новаго подходящаго помѣщенія. За не-нахожденіемъ ли лучшаго, или таковъ уже былъ его выборъ, только геній несомнѣнно засѣлъ въ коренастую, толстую, но очень юркую фигуру мистера Смартбоя, съ дѣтства уже обращавашаго на себя вниманіе находчивостью и изобрѣтательностью на почвѣ всевозможныхъ операцій, пока, конечно, съ леденцами, пряниками и мелкою карманною мелочью. Впослѣдствіи, выросши, окрѣпнувъ, развившись, онъ, естественно, оставилъ леденцы и пряники въ покоѣ и всю находчивость, всю геніальную изобрѣтательность направилъ на акціи и облигаціи самыхъ остроумныхъ предпріятій. Мистеръ Смартбой строилъ дороги, осушалъ болота, организовывалъ банки, улучшалъ породы скота, наводнял штаты самыми громкими, самыми интересными рекламами о своей широкой и плодотворной дѣятельности. И хотя во всякомъ предпріятіи ему непремѣнно всегда мѣшалъ какой-нибудь странный „случай“, вѣчный врагъ финансовыхъ геніевъ, и мистеру Смартбою постоянно приходилось то „прогорать“, то

„вылетать въ трубу“, то объявлять себя банкротомъ,— чудомъ скрытаго генія, онъ не „тонуть“, а „выплывалъ“ всегда вновь во главѣ какого-нибудь новаго, еще болѣе грандіознаго предпріятія, причеиъ туго набитый кошелекъ его все толстѣлъ и толстѣлъ. Правда, разорившіеся акціонеры порою громко роптали, шипѣли злыми инсинуаціями, дарили мистера Смартбоя неместными эпитетами, но общій голосъ былъ за него, ибо всѣ продолжали вѣрить въ его „звѣзду“, его дѣловитость, изобрѣтательность и всѣ кричали въ унисонъ: „мистеръ Смартбой—геній!“

Это новое его предпріятіе, колоссальный магазинъ, въ которомъ можно было найти все, что производилось мозольными руками всего стараго и новаго міра, — все, отъ нитки до баснословной индійской шали, отъ проволочнаго гвоздя до самой рѣдкой воды брилліанта, давало неслыханные дивиденды, о которыхъ кричали вездѣ и всѣ. Мистеръ Смартбой потиралъ весело руки, считалъ барыши, поднималъ все выше и выше свои акціи до того злополучнаго дня, какъ ненавистный рокъ подарилъ ему конкуррента въ лицѣ новой фирмы „Универсальный Складъ“, открывшей свой магазинъ невдалекѣ и сразу сбившей цѣны. Покупатель, всегда падкій на новинку и дешевизну, сталъ явно измѣнять и дѣла мисте-

ра Смартбой пошли тише, дивиденды упали, акціи понизились, а въ городѣ стали ходить тревожные слухи, еще сильнѣе подрывавшіе дѣла. Мистрисъ Смартбой поневолѣ должна была прекратить свою широкую филантропическую дѣятельность и ограничить расходы на наряды и выѣзды, о которыхъ когда-то говорилъ весь городъ, — отчего проводила теперь время въ слезахъ, а мистеръ Смартбой пересталъ, по обыкновенію, потирать руки и ходить мрачнѣе ночи. Проклятый конкурентъ не шелъ ни на какія сдѣлки, отказывался отъ „отступнаго“ и все расширялъ свои операціи.

Но мистеръ Смартбой былъ геній!.. Въ одну бессонную, тревожную ночь на него вдругъ снизошло вдохновеніе. Въ геніальной головѣ мелькнула комбинація, которая, несомнѣнно, спасала его самого, убивала конкурента и выручала министерство. Къ тому же, она, несомнѣнно, должна была привести въ восторгъ мистрисъ Смартбой, такъ любившую „добрыя дѣла“.

Геніальный человекъ вскочилъ съ постели въ волненіи, пылая жаромъ вдохновенія.

— Да, его спасетъ Черный Ястребъ, этотъ грубый и глупый дикарь, предъ которымъ такъ лебезятъ всѣ барыньки и съ которымъ въ министерствѣ не знаютъ что дѣлать! Хе, хе, хе, — все создано Богомъ на потребу умной

и ловкой баннѣ, — пригодится и этотъ краснокожій!... Не знаютъ, что дѣлать съ нимъ? Ну, хорошо же, онъ ихъ научить! Да, онъ ихъ научить. чертъ возьми!....

Г Л А В А VII.

Въ которой геній совершаетъ доброе дѣло, а истинная и скромная добродѣтель получаетъ свою мзду сторицей.

Мистрисъ Смартбой, какъ всегда въ послѣднее время, вышла къ завтраку съ заплаканными глазами. Добрая, кроткая женщина, она, конечно, не роптала, не пилила своего и безъ того разстроеннаго „милаго Джонни“, какъ любятъ это дѣлать другія жены, — она только втихомолку лила вѣчныя слезы. Конечно, мокрые глаза и красныя пятна подъ ними на щекахъ не особенно успокоительно дѣйствовали на супруга, порой они даже раздражали, вызывали его на какую-нибудь рѣзвую вспыльчивую выходку, но что же могла сдѣлать добрая и кроткая женщина, если слезы текли сами, непроизвольно и неудержимо? Она такъ любила благотворительность и всѣ эти шикники въ пользу больныхъ, балы въ пользу увѣч-

ныхъ, аллегри ради голодныхъ и т. д., — все, въ чемъ она поневолѣ должна была себѣ теперь отказывать, — были ея стихіей. Что могла она сдѣлать, если ее такъ страшно терзали эти насмѣшливые взгляды прежнихъ подругъ и эти ядовитыя соболѣзнованія ихъ по поводу „несчастья въ дѣлахъ“, при видѣ ея необновляемыхъ нарядовъ? Къ тому же, она такъ привыкла вѣрить во всевыручающій геній „милаго Джонни“, который теперь, вдругъ, какъ-то необычно опустился, съ каждымъ днемъ становился только все мрачнѣе, и такъ привыкла уповать на Провидѣніе, сторицей награждающее добрыя дѣла. А она ихъ дѣлала такъ много, такъ много...

И она не ошиблась въ этомъ упованіи и вѣрѣ, добрая, кроткая женщина. Къ ея крайнему изумленію, въ это утро мистеръ Смартбой вышелъ къ завтраку какъ ни въ чемъ не бывало, вновь сіяя обычною улыбкой и потирая руки. Подойдя сзади мелкими, быстрыми шагами, онъ, какъ и раньше, опять громко чмокнулъ ея красивый лобъ.

— О, Джонни! — могла проговорить только отъ избытка взволновавшихъ ее чувствъ мистрисъ Смартбой и сердце ея забилося сладкою надеждой на что-то хорошее. — О, милый Джонни!...

— Что, моя Нэлли, что?—весело спрашивать въ отвѣтъ мистеръ Смартбой, ожесточенно потирая руки.—Ну, будетъ намъ лить слезы!... Съ нынѣшняго утра...

Мистриссъ Нэлли, вся вытянувшись и сіяя счастьемъ, раскрыла свой чудный ротикъ.

— Съ нынѣшняго утра, Нэлли,—продолжалъ счастливый супругъ,—все должно измѣниться!... Кстати, вы давно не дѣлали себѣ обновокъ... Можете отправиться сегодня къ модисткѣ...

— Джонни! — ликуя и какъ бы не вѣря, въ то же время, крикнула мистриссъ Смартбой.—Милый Джонни!

Но мистеръ Смартбой не выказалъ еще всей своей доброты. Потирая руки и весело хихикая, онъ продолжалъ:

— Да и благотворительныя дѣла свои, Нэлли, вы немножко запустили... Хорошо бы, знаете, вечеръ съ аллегри или что-нибудь въ этомъ родѣ...

— Можно *bal masque*, Джонни!..

— Какъ хотите, милая; это ваше дѣло...

Мистриссъ Смартбой ликовала. Высокая грудь ея колыхалась счастьемъ. Но она была кроткою и доброю супругой и потому сочла долгомъ немного опечалиться.

— Вы такъ добры, Джонни! Вы столько дѣлаете для меня, и я вамъ такъ благодар-

на... Но наши дѣла, кажется... наши дѣла, Джонни...

— Наши дѣла? — захихикалъ весело мистеръ Смартбой. — Не печальтесь, Нэлли!... О нашихъ дѣлахъ скоро заговорятъ всѣ штаты!... Да, Нэлли, наши дѣла зацвѣтутъ, какъ ваши щечки!... Сегодня же вы получите одинъ сюрпризъ, который придется по вкусу вашему сострадательному сердцу... сегодня...

— Сюрпризъ? О, еще и сюрпризъ, Джонни? — вся заалѣвъ отъ избытка счастья, томно простонала мистрисъ Нэлли.

— Да, сюрпризъ! Помните, вы такъ хотѣли получить входный билетъ къ этому несчастному узнику...

Благодаря придуманной комбинаціи, мистеръ Смартбой находилъ теперь этого „глупаго дикаря“ — „несчастливымъ“, „страдальцемъ“, „мученикомъ“ и даже готовъ былъ пролить о его печальной судьбѣ и по поводу „возмутительнаго заключенія“ горячія слезы.

— Помните?

Мистрисъ Нэлли вскочила.

— Я получу билетъ? — спросила она, задыхаясь.

— Вы получите больше, чѣмъ билетъ, Нэлли! — весело и загадочно отвѣтилъ мистеръ Смартбой. — Гораздо больше!..

— Что же это такое, Джонни?

— Это... это... пока секретъ, Нэлли!... Это очень доброе дѣло, которое приведетъ въ восторгъ ваше сердце, всецѣло отданное добрымъ дѣламъ... За это доброе дѣло, мы, конечно, пожнемъ сторицей!

И немного цинично захихикавъ, довольнымъ, предвидящимъ наживу смѣхомъ „дѣловитаго“ человѣка, мистеръ Смартбой кончилъ свой завтракъ.

О, мистрисъ Нэлли никогда не сомнѣвалась, что онъ—геній!

Послѣ завтрака мистеръ Смартбой пошелъ прямо въ министерство. Взволнованною, глубоко прочувствованною рѣчью онъ заговорилъ тамъ о печальной судьбѣ этого несчастнаго индѣйца, который, вопреки всѣмъ традиціямъ и законамъ республики, такъ долго томится въ заключеніи. Конечно, онъ, мистеръ Смартбой, отлично понимаетъ всю затруднительность положенія правительства, онъ понимаетъ, что озлобленнаго вождя нельзя отпустить на свободу безусловно, но съ другой стороны, нельзя не принять во вниманіе, что сердце каждаго истаго „янки“ приходитъ въ негодованіе и все общество находится въ возбужденномъ состояніи. Длеть все это дольше—невозможно.

Въ министерствѣ къ такимъ рѣчамъ уже привыкли и чиновникъ, морщась слушавшій горячее слово мистера Смартбоя, готовъ былъ

уже прервать этот поток состраданія обычной официальной фурмулой: „министерство сдѣлаетъ все зависящее... Оно приметъ во вниманіе“ и т. д. Но вдругъ его ухо уловило нѣчто совсѣмъ новое.

— Изъ такого положенія есть, все-таки, выходъ... Я пришелъ предложить... — говорилъ мистеръ Смартбой.

— Выходъ! Вы пришли предложить? — спросилъ чиновникъ, недовѣрчиво косясь на геніальнаго человѣка. — Какой же напримѣръ?

— Я пришелъ предложить отдать его мнѣ на поруки, сэръ. Это лучшее, что можетъ быть при такомъ положеніи.

Да, это былъ лучший выходъ. Чиновникъ даже раскрылъ ротъ, — такъ ошеломила его эта простота „выхода“. Отдать на поруки! Да, вѣдь, это геніальнѣйшая мысль и никому она не приходила въ голову раньше? Этимъ затыкались всѣ глотки, индѣецъ получалъ свободу, былъ, въ то же время, безопасенъ и вопросъ о его судьбѣ могъ быть совершенно свободно и легально отложенъ до далекаго „благопріятнаго и подходящаго“ случая. Это была положительно геніальная мысль!

Мистеру Смартбою, конечно, жали руки, удивлялись его сердцу и головѣ и предложеніе приняли сразу. Все было готово быстро, — въ министерствѣ не любили мѣшкать.

— Вотъ, мистеръ Смартбой, дорогой мистеръ Смартбой, и бумаги, и декретъ! Предъявите тамъ коменданту... Спасибо, мистеръ Смартбой, право, это гениальнѣйшая мысль и дѣлаетъ большую честь вашему сердцу!

Ликуя, мистеръ Смартбой изъ министерства направился прямо въ контору объявленій. Послѣ непродолжительнаго шушуканья съ управляющимъ онъ заказалъ десять тысячъ громаднѣйшихъ простынь объявленій на самой яркой цвѣтной бумагѣ, которыя завтра чуть свѣтъ контора обязывалась расклеить по всему городу и вездѣ, куда только могъ добраться человѣкъ съ влеемъ и кистью. Изъ конторы онъ пошелъ къ индѣйцу и, предъявивъ декретъ министра объ отдачѣ ему на поруки Чернаго Ястреба, смѣло вошелъ къ нему, ощупывая на ходу захваченный „на всякій случай“ пятиствольный ремингтонъ, способный пробить черепъ буйвола.

— Какъ живешь?—весело крикнулъ мистеръ Смартбой.

Индѣецъ угрюмо сидѣлъ въ своей обычной позѣ и не шевельнулся. Послѣ давишняго разговора съ проповѣдникомъ, которому онъ такъ смѣло отвѣтилъ, съ нимъ, конечно, тянуть не будутъ. Съ часу на часъ ждалъ индѣецъ своей казни, на которую онъ пойдетъ, какъ воинъ, безстрашно и смѣло, со спокой-

ною совѣстью и душой, презирая глубоко враговъ и предстоящую пытку. Что бы они съ нимъ ни дѣлали, имъ не вырвать изъ устъ вождя, конечно, даже самаго слабого стона.

— Какъ живешь? — повторилъ мистеръ Смартбой и хлопнулъ индѣйца по плечу. — А я пришелъ за тобою!

Тотъ удивленно поднялъ глаза.

За нимъ? Этотъ кругленькій и толстенькій человекъ, похожій на куща?

— Да, продолжалъ мистеръ Смартбой на удивленный взглядъ индѣйца, — за тобою, Черный Ястребъ! Ты осужденъ на казнь, но мы не хотимъ тебя казнить... Мы надѣемся, что, поживя среди бѣлыхъ, узнавъ ихъ лучше, ты перестанешь считать ихъ врагамиц... Мы милуемъ тебя.,.

Индѣецъ не понималъ, казалось, ничего и не вѣрилъ тому, что слышалъ.

— Правительство отдало тебя мнѣ подъ охрану, — ты будешь жить у меня. Не думай, — спохватился мистеръ Смартбой, когда увидѣлъ, что тѣнь пробѣжала отъ этихъ словъ по лицу узника, — не думай, что ты отданъ въ рабство... Вождь, конечно, не можетъ быть рабомъ. Ты не будешь работать и ничего не увидишь злаго... Я буду тебя холить. ты будешь сытно ѣсть, хорошо спать, ниче-

го не дѣлать и получишь самое роскошное платье и самыя красивыя перья... Курить будешь весь день... Мы хотимъ, чтобы ты лучше узналъ насъ и убѣдился, что среди насъ есть много добрыхъ людей. Ну, поидемъ!

Барета ждала у входа. Ошеломленный, совсѣмъ сбитый съ толку, даже какъ будто оробѣвшій отъ всѣй этой кутермы въ его растерявшейся головѣ, отъ этихъ странныхъ неожиданностей, индѣецъ молча вскарабкался въ нее вмѣстѣ съ мистеромъ Смартбоемъ, на его глазахъ переложившимъ зачѣмъ то свой револьверъ изъ одного кармана въ другой. Когда они оба, ликующій геній и ошеломленный, какъ бы гипнотизированный индѣецъ, вошли въ гостинную и пораженная мистрисъ Нэлли, немного испугавшись, широко раскрыла свои прелестныя глазки, нѣжный супругъ, потирая руки, весело сказалъ ей:

— Вотъ, милая Нэлли, и мой сюрпризъ, и мое доброе дѣло! Это Черный Ястребъ. Я взялъ его на поруки и онъ будетъ жить у насъ!

— Джонни, — совсѣмъ задохнулась отъ блаженства мистрисъ Нэлли, предчувствуя, какъ заболѣютъ съ досады и зависти всѣ ея подружки, — милый Джонни, это такое доброе дѣло... такое дѣло...

— И оно, моя крошка дастъ намъ не одинъ милліончикъ! — весело хихивнулъ въ отвѣтъ мистеръ Смартбой, потирая руки. — Наша фирма засіяетъ, какъ твои глазки!

— А конкурентъ, Джонни?

— Конкурентъ?... Завтра же онъ ливидируетъ свои дѣла!

Геніальный мистеръ Смартбой всегда считывалъ вѣрно.

ГЛАВА VIII.

Нѣчто о томъ, какъ истинная добродѣтель побѣждаетъ зло.

На другой день съ утра вся столица запырѣла сажеными афишами самыхъ яркихъ цвѣтовъ, отъ которыхъ невольно рябило въ глазахъ каждаго прохожаго. Афиши покрывали собою дома, стѣны храмовъ, телеграфные столбы, качались на протянутыхъ черезъ улицы проволокахъ, замѣняли собою плащи у спеціально нанятыхъ для того разнощиковъ, медленно шагавшихъ по тротуарамъ. Вездѣ, куда ни направлялся глазъ человѣка, онъ читалъ одно и то же:

„СМАРТБОЙ и К°“.

1000 скальповъ

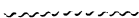
собственноручно снявший и два раза разбивший на голову регулярная войска союза, великій вождь краснокожихъ

ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБЪ,

въ великолѣпномъ нарядѣ вождя, во всеоружіи и со всѣми атрибутами своей власти, присутствуетъ ежедневно въ магазинѣ

„СМАРТБОЙ и К°“.

МОДНО! ДЕШЕВО! ИЗЯЧНО!



Н. В. Только что полученъ громадный выборъ самыхъ модныхъ и изящныхъ товаровъ всего свѣта. Дешевизна небывалая! Роскошь головокружительная. Внѣ конкуренціи!

Естественно, населеніе пришло въ небывалое волненіе, — каждому такъ страстно хотѣлось увидѣть индѣйца! Сначала, правда, это было принято за мистификацію и ловкую рекламу, но утреннія газеты разсѣяли всѣ сомнѣнія. Дѣйствительно, Черный Ястребъ присутствуетъ въ магазинѣ собственной особой. Мистеръ Смартбой, — этотъ замѣчательный дѣлецъ и финансистъ, давно извѣстный всему союзу, — доказалъ, что обладаетъ истинно-добрымъ сердцемъ, что онъ къ тому же, прекрасный гражданинъ, который не ограничивается одними словами и платоническими сожалѣніями, но умѣетъ и реализовать ихъ. Ему одному пришла въ голову эта счастливая комбинація, выручившая несчастнаго узника и давшая возможность правительству снять съ себя обвиненіе въ жестокости и незаконности дѣйствій. Взявъ на поруки Чернаго Ястреба, мистеръ Смартбой, конечно, заслужилъ признательность правительства и всѣхъ добрыхъ гражданъ союза.

И съ самаго утра возбужденное населеніе столицы, горѣвшее страстнымъ любопытствомъ, густою вереницей направлялось къ одному центру — знаменитому магазину мистера Смартбоя, гдѣ отъ толпы совсѣмъ не было ни прохода, ни проѣзда. Четыре улицы, на которыя выходилъ своими фасадами магазинъ, буквально были запружены экипажами и народомъ.

Съ подругами мистрисъ Смартбой дѣйстви- тельно творилось въ это утро недоброе отъ зависти и досады. Прелестная мистрисъ Бар- наби за завтракомъ стала горько жаловаться все на тѣ же нервы и мужу, предчувствовав- шему истерику, съ болью и тревогой въ сердцѣ пришлось выслушивать законныя сѣтованія на „недогадливость“ политиковъ, погруженныхъ въ обдумываніе своихъ „шаговъ“ и упускаю- щихъ „жареныхъ голубей“ другимъ. Мистрисъ Мэри, благоразумнѣйшая супруга, слегла въ постель отъ мигрени, все усиливавшейся отъ больнаго и обиднаго сознанія, что эта „против- ная Нэлли Смартбой“ опять „всплываетъ“ и заставитъ говорить только о себѣ, затмивъ всѣхъ спутницъ финансовыхъ планетъ Вашингтона.

— Эти Смартбой опять поднимутся, — горь- ко стонала благоразумная больная.

— Несомнѣнно, дорогая Мэри, — успокаи- валь ее банкиръ. — Но это-то и отлично для насъ... Вы знаете, у меня много его вексе- лей и акцій.

Блѣдное личико мистрисъ Мэри исказилось глубокимъ страданіемъ. Она подняла руки къ блондамъ своего чепчика отъ приступа силь- ной боли.

— Уходите и не мучьте меня!.. Уходите, сэръ! — стонала благоразумная супруга. — У васъ только ваши векселя и акціи въ головѣ! Уходите и поднимайте ваши акціи!

И бѣдный банкиръ ушелъ, проклиная мигрени и женскую неспособность понимать финансовыя комбинаціи.

Но еще худшее творилось съ конкуррентами самого мистера Смартбоя. Эти афиши, которыя они читали такими изумленными, широко вытаращенными глазами, — эти статьи утреннихъ газетъ, восхвалявшихъ добродѣтели и догадливость ихъ конкуррента, — влили, казалось, въ ихъ сердца какой-то страшный ядъ, отъ котораго, точно отъ долгой желтухи, со всѣмъ пожелтѣли ихъ лица. Въ обширныхъ залахъ „Универсальнаго Склада“, еще вчера набитыхъ биткомъ лихорадочно-торопливыми покупателями и въ особенности покупательницами, шумныхъ и суетливыхъ, царила теперь абсолютная пустота и тишь. Въ громадныхъ зеркалахъ, вмѣсто оживленной толпы, отражались теперь только вялыя и точно сконфуженныя лица прикащиковъ, да желтыя и тревожно-грустныя фізіономіи директоровъ-компаньоновъ, безмолвно и сосредоточенно шагавшихъ по пустымъ заламъ, заложивъ руки въ барманы. Богатства магазина оставались на полкахъ, ярко полированныя стойки были пусты.

— Да, онъ сегодня зарѣзалъ насъ сразу! — глухо, сквозь зубы, проговорилъ одинъ изъ директоровъ, сойдясь съ другимъ у большаго зеркальнаго окна. — Съ одного маху!

— Да, — отвѣтилъ другой. — Цѣлый годъ мы понижали, цѣлый годъ вели дѣло въ убытокъ въ надеждѣ на побѣду... Еще немного — и онъ несомнѣнно полетѣлъ бы въ трубу...

— То-то и есть!... И вдругъ!... Кто могъ ожидать?

— Геній! — вздохнулъ въ отвѣтъ другой.

И оба отвернулись, чтобы не видѣть этихъ проклятыхъ афишъ генія, прямо стрѣлявшихъ въ окно своими громадными буквами.

— Придется ликвидировать? — вздохнулъ первый. — Впрочемъ, можетъ быть, мистеръ Бигпокеть...

Онъ не договорилъ, потому что въ этотъ моментъ на порогѣ показался глава фирмы, самъ мистеръ Бигпокеть своею длинною особой. Всѣ директора бросились къ нему, но, взглянувъ въ его сухое, бритое, тоже совсѣмъ пожелтѣвшее лицо, безмолвно остановились. Флегматичный, молчаливый мистеръ Бигпокеть стекляннымъ взглядомъ обводилъ всѣ полки магазина и беззвучно двигалъ, точно жуя, своими безцвѣтными, сухими губами.

Это былъ плохой знакъ.

А самъ мистеръ Смартбой въ страстномъ волненіи лихорадочно бѣгалъ у себя изъ угла въ уголъ. Пока все шло какъ по маслу и генеральное сраженіе, которое должно было рѣшить участь всей фирмы, явно клонилось на

его сторону. Еще утромъ ему дали знать, что наличныхъ силъ клерковъ въ его магазинѣ не хватитъ, что необходимо подкрѣпленіе. Точно главнокомандующій на полѣ битвы, онъ отрядилъ запасныхъ, о которыхъ предусмотрительно позаботился еще наканунѣ, и приказалъ принанять за какую угодно цѣну новый запасъ, на всякій случай, если и посланныхъ уже подкрѣпленій окажется недостаточно. Послѣ того онъ забѣгалъ еще лихорадочнѣе, сильнѣе прежняго потирая руки, то и дѣло подбѣгая къ окну взглянуть на свои афиши и запрудившую улицы толпу. Передъ завтракомъ ему прислали сказать, что если дѣла будутъ идти такъ и да ыше то къ вечеру нѣкоторыхъ товаровъ не хватитъ. Мистеръ Смартбой либовалъ, но на душѣ у него, все-таки, скребли кошки.

Дѣло было въ томъ, что онъ никакъ не могъ еще рѣшить, что думаютъ и какъ смотрятъ на вещи въ „Универсальномъ Складѣ“ его конкуренты, а это значило много. Тамъ сидѣли, конечно, не „пустыя головы“ и то или иное ихъ отношеніе лучше всего характеризовали бы дѣйствительное значеніе его побѣды. Эта побѣда могла имѣть только временное значеніе и могла быть настолько полной, что противнику не оставалось бы ничего больше, какъ покорно сложить оружіе и про-

сильно пощады. Ловкие люди, они сразу сообщают, могут ли они конкурировать дальше, могут ли чѣмъ-нибудь вновь перетянуть къ себѣ „публику“, или дѣло ихъ проиграно вполне и тогда они, конечно, не будутъ „затягивать“, точно какіе-нибудь профаны, а постараются покончить все сразу и быстро... Не даромъ этотъ Бигнокетъ чертовски смысленная башка! Онъ знаетъ, что ни одинъ покупатель не зашелъ къ нимъ сегодня, не зайдетъ и завтра, — но дальше-то? Какъ они думаютъ?

Онъ бѣгалъ, волновался, ждалъ, но отътуда не было еще ни гласа, ни послушанія. Тянутъ ли они тамъ, совѣщаются ли, или колеблются? О, ловкій плутъ этотъ длинный, молчаливый сухарь! Мистеръ Смартбой съѣлъ завтракъ одинъ, потому что экспансивная мистрисъ Нэлли поѣхала уже торжествовать побѣду къ подругамъ. Онъ ѣлъ быстро, торопливо, все ожидая, все прислушиваясь, но никто не являлся. Найдя, что такъ волноваться нельзя, онъ для успокоенія выпилъ рюмку портвейна и взялъ уже въ руку зубочистку, какъ ему неожиданно доложили, что прибылъ самъ мистеръ Бигнокетъ.

— Просить! — вскочилъ мистеръ Смартбой, сразу успокоенный. Волненіе его какъ рукою сняло. Съ салфеткой за жилетомъ, съ зубочисткой въ рукѣ стоялъ уже совсѣмъ другой че-

ловѣкъ, спокойный, флегматичный, съ какимъ-то безжизненнымъ, почти соннымъ взглядомъ.

И два великана, два солнца финансоваго міра, два ожесточенныхъ врага, стояли лицомъ къ лицу. Одинъ — желтый, сухой, длинный, безмолвно, точно жуя, шевелилъ губами, другой — коренастый, толстый, цвѣтущій, молча ковырялъ во рту зубочисткой.

— Ловкое дѣло! — глухо, точно съ усилениемъ выговорилъ, наконецъ, гость и вновь зашевелилъ губами.

— Н-да? — не то спросилъ, не то подтвердилъ полусонный хозяинъ. — Во всякомъ случаѣ, дорогой мистеръ Бигнокетъ, — доброе дѣло... Жаль мнѣ было этого наивнаго дикаря... Къ тому же, знаете, мистрисъ Смартбой такъ предана благотворенію, — и онъ вновь заковырялъ въ зубахъ.

Молчаливый гость только пожевалъ въ отвѣтъ и шевельнулъ бровями, какъ будто ничего не слышалъ.

— Мы согласны на отступное, сэръ, — такъ же глухо и съ такимъ же усилениемъ проговорилъ онъ вновь, послѣ минутной паузы.

Часы мѣрно стучали. Мистеръ Смартбой, продолжая ковырять зубочисткой, кивнулъ слегка сонною головою и отвѣтилъ самымъ дружескимъ тономъ:

— Ни цента, дорогой мистеръ Бигнокетъ!

Желтое лицо гостя какъ будто еще больше пожелтѣло. Время шло, маятникъ мѣрно качался, мистеръ Смартбой ожесточенно ковырялъ зубочисткой, а тотъ, попрежнему, все только жеваль и жеваль.

— Хорошо! Мы ликвидируемъ!—тѣмъ же тономъ произнесъ онъ послѣ обоюднаго молчанія, вскинувъ, наконецъ, своими точно ничего невидящими, стеклянными глазами.

Зубочистка остановилась.

— Пятьдесятъ за сто, сэръ! Завтра не дамъ и этого...

Мистеръ Смартбой бросилъ это точно вскользь, прежнимъ дружескимъ тономъ. Гость очень долго жеваль.

— Хорошо! — проговорилъ онъ, наконецъ.—Мы согласны!

Великаны взглянули другъ другу въ глаза.—дѣло было слажено. И, сразу измѣнивъ тонъ, придя въ другое настроеніе, точно совсѣмъ преобразившись, оба, и гость, и хозяинъ, повели рѣчь дальше.

Побѣда была полная.

А въ это время въ магазинъ шла давка, начавшаяся съ самаго утра и все возроставшая до того, что людямъ совсѣмъ почти нельзя было двигаться. Въ обширныхъ, роскошныхъ залахъ, заваленныхъ грудями разбросаннаго товара, занятаго сплошною почти массой чело-

вѣческихъ тѣлъ, стоялъ глухой, неясный гулъ множества голосовъ, хорошо слышимый сквозь открытыя окна и двери далеко на улицѣ, гдѣ тоже шла давка и тоже стоялъ содомъ. Было жарко, душно. Несмотря на постоянную пульверизацію, на пущенные зальные фонтаны, на севознякъ вездѣ открытыхъ оконъ и дверей, въ воздухѣ тучею носилась пыль по заламъ всѣхъ четырехъ этажей. Подъемныя машины работали неустанно, клерки выбивались изъ силъ, разворачивая и отгѣривая товаръ, который затѣмъ не убирался, а прямо кидался за недостаткомъ времени въ общія кучи, безчисленныя кассы не успѣвали принимать деньги и давать сдачу... А толпа все росла и росла.

Гуще всего была она въ залахъ бель-этажа, специально занятаго предметами дамскихъ нарядовъ, послѣдними сезонными новинками и ювелирными вещами. Тамъ она, конечно, состояла, главнымъ образомъ, изъ женщинъ, и бѣднымъ клеркамъ здѣсь была уже чистая каторга... Но въ главномъ залѣ этого этажа, въ громадномъ залѣ чистаго бѣлаго мрамора, убранномъ одними зеркалами въ серебряныхъ рамахъ. въ простѣнкахъ между которыми стояли мраморныя вазы съ роскошными гигантскими букетами изъ бѣлыхъ розъ, тамъ шелъ цѣлый адъ. Сквозь обшій, неясный гулъ тамъ то и дѣло ясно выдѣлялось одно слово: онъ, онъ, онъ!...

Да, тамъ находился онъ, великій вождь, „несчастный узникъ, милосердно освобожденный этимъ милымъ мистеромъ Смартбоемъ“. На высокомъ золотомъ креслѣ, похожемъ на тронъ, съ вычурнымъ балдахинномъ изъ баковой-то рѣдкой индійской висен, сидѣлъ индѣецъ въ ярко-красномъ, пурпуровомъ одѣялѣ, какого не видало никогда ни одно око его красновожихъ братьевъ. Дорогія страусовыя перья, какихъ не носилъ еще ни разу ни одинъ вождь всѣхъ племенъ, высоко колыхались на его головѣ бѣлоснѣжною тучей, ниспадая красивыми каскадами и фестонами, развѣваясь во всѣ стороны. Бляхи въ его волосахъ сверкали червоннымъ золотомъ, у ногъ его, обутыхъ въ мокасины самой тонхой работы, лежалъ золоченый лукъ, правда, совсѣмъ негодный, какъ оружіе, и великолѣпный, хотя, на самомъ дѣлѣ, картонный, золоченый же томагаукъ. Отъ богатаго пояса ниспадала цѣлая цѣпь картонныхъ скальповъ, съ сѣдыми волосами стариковъ, кудрями дѣтей, длинными, роскошными прядями женщинъ, безусловно похожихъ на настоящіе скальпы, — чудо искусства француза-парикмахера... Тѣснившаяся кругомъ женская толпа жадно смотрѣла на него полуиспуганными, полудивленными, но возбужденными, горѣвшими страстнымъ и лихорадочнымъ любопытствомъ глазами.

— Ахъ, какъ онъ страшень!—то и дѣло, полузадыхаясь, шептали прелестныя миссъ и мистрисъ, но все тѣснѣе окружали индѣйца плотнымъ кругомъ. Въ этомъ страхѣ было что то чарующее, влекущее, возбуждающее.

— Не бойтесь, не бойтесь, онъ безопасенъ,—успокаивали боязливыхъ клерки.—Мы тутъ, сударыни... Онъ не сдѣлаетъ зла...

— Говорятъ, его очень, обижали... Онъ не любитъ всѣхъ бѣлыхъ, всѣхъ насъ...

— Сомнительно—шутили ловкіе клерки.—Сомнительно, сударыня. А, впрочемъ, спросимъ его.

И, хлопая индѣйца по плечу, они спрашивали его шутливо:

— Ну, что, Черный Ястребъ, нравятся тебѣ бѣлыя „скво“?

Но тотъ молчалъ.

Да и что могъ бы онъ отвѣтить, когда онъ самъ теперь ничего не понималъ и не зналъ? Этотъ залъ, котораго не знаютъ даже самые яркіе и блестящіе сны, этотъ нарядъ, пріятно поражающій его самого своимъ великолѣпіемъ, какого не знали никогда даже дѣды, эти свѣтлыя зеркала, въ которыхъ онъ видитъ себя такимъ величественнымъ въ этихъ чудныхъ перьяхъ и бляхахъ, эта громадная, тѣсная толпа, не сводящая съ него взоровъ, — все это безусловно ошеломляло и подавля-

ло индѣйца. Все это походило на какую то фантастическую сказку изъ индѣйскихъ легендъ о бродячихъ тѣняхъ. Онъ не отвѣтилъ бы себѣ теперь на вопросъ, онъ ли это дѣйствительно сидитъ и отражается кругомъ, или его тѣнь... Можетъ быть, все это ловкая тактика бѣлыхъ, чтобы смутить его и соблазнить своимъ богатствомъ, очень можетъ быть, но ошеломленный, подавленный, онъ какъ то совсѣмъ не могъ объ этомъ думать. Приложи онъ даже руку къ самому сердцу, онъ не сказалъ бы, чѣмъ оно бьется... Положительно околдовалъ его со вчерашняго дня этотъ юркій, толстенѣй чародѣй, съ виду такъ похожій на простаго вунца!

Г Л А В А IX.

Сила волшебной чары и хорошаго корма.

Время летѣло незамѣтно и неудержимо, такъ же незамѣтно и неудержимо копилась миллионы мистера Смартбоя, такъ же росла и росла сила чары, овладѣвшей индѣйцемъ.

Да, онъ несомнѣнно былъ очарованъ, — онъ такъ вѣрилъ въ силу колдовства. На почвѣ такой вѣры явилось это представленіе,

а разъ оно явилось, оно не могло не расти, все развиваясь, переходя постепенно въ самое незыблемое убѣжденіе. Какъ всѣ его братья, онъ былъ слишкомъ суевѣренъ и мнителенъ, —этотъ наивный сынъ дикой степи. Современные психіатры хорошо знаютъ силу такой мнительности, знаютъ, какъ сильно отражается зародившееся въ человѣкѣ сомнѣніе или представленіе на всей его духовной и физической природѣ. Гигантъ, какъ извѣстно, бываетъ безсиленъ поднять дѣтскую игрушку, полный силъ, цвѣтуцій юноша можетъ чувствовать себя дряхлымъ старикомъ. И безстрашный, гордый вождь чувствовалъ, что онъ какъ бы совсѣмъ потерялъ свою волю, что, околдованный разъ, онъ находится въ полной власти этого то истенькаго чародѣя, еселаго и юреаго, съ безцвѣтными, смѣющимися глазками, въ которыхъ, однако, сверкала какой то леденяцій, мертвый холодъ. Герой, во время жестокаго боя смѣло представлявшій закаленную, безстрашную грудь подъ вражескія пули, одинъ способный противустоять цѣлой толпѣ нападавшихъ, способный умереть какъ никто, безъ стона подъ самую лютую пытку, онъ даже какъ то наивно робѣлъ при видѣ этой маленькой фигурки, этого неустаннаго потиранія рукъ, этого холоднаго хихиванья, этихъ безцвѣт-

ныхъ глазъ. Да, робѣлъ... Такъ порою взрослый и сильный человѣкъ робѣетъ и дрожить при видѣ крошечнаго мышенка.

Конечно, еслибъ онъ могъ спросить себя, что онъ чувствовалъ къ своему чародѣю, онъ несомнѣнно отвѣтилъ бы, что въ глубинѣ души ненавидитъ его, и, можетъ быть, неизмѣримо страстиѣе, чѣмъ всѣхъ его братьевъ. Но онъ и не могъ себя спросить, казалось, ибо совсѣмъ какъ то не могъ думать въ этомъ направленіи. Ошеломленный, подавленный однимъ представленіемъ, мозгъ зналъ и говорилъ лишь одно, о власти чародѣя, и какъ будто совсѣмъ не хотѣлъ и не могъ знать ничего другаго. Это, конечно, было тоже дѣломъ чары. И, пожалуй, не будь ея, этой чары, положеніе мистера Смартбола могло стать не совсѣмъ безопаснымъ,.. Развѣ не разрываетъ проснувшійся въ своей желѣзной клѣткѣ хоть на мигъ и вспомнившій о былой силѣ и воли африканскій левъ своего чародѣя-укротителя?

Время шло и сила чары все росла. Индѣецъ сталъ даже какъ-то странно волноваться, точно птица, забывшая хищную кошку, лишь только его слухъ уловлялъ дребезжаніе этого волшебнаго хихибанья, мелкіе, быстрые шажки, звукъ довольнаго потиранія руками. Приставленные къ нему влерки, дав-

по узнавшіе и это подозрѣніе, и эту боязнь, всѣми мѣрами, конечно, старались поддерживать ихъ въ индѣйцѣ, и скоро мистеръ Смартобой не имѣлъ другой влички, какъ „чародѣй и волшебникъ“. Порою, отъ скуки, они забавлялись этимъ смѣшнымъ для нихъ страхомъ и, проказничая, предупреждали другъ друга о мнимомъ приближеніи чародѣя. Ихъ тѣшила эта тревога, немедленно охватывавшая молча и безстрастно курившаго диваря... Ге! —этотъ диварь, —онъ только сладко спить, сладко ѣсть, когда они работаютъ до изнеможения! Пусть же поволнуется... И, напуская на себя испуганный, встревоженный видъ, они громкимъ, полнымъ ужаса, казалось, шепотомъ передавали другъ другу: „кажется, идетъ колдунъ! кажется, колдунъ!...“

Могла ли не расти эта чара?

И мало-по-малу грозный вождь, казалось, совсѣмъ свыкъся съ своимъ положеніемъ. Изодня въ день просиживалъ онъ на своемъ тронѣ среди этой, часто-несмѣтной, любопытной толпы, въ своихъ перьяхъ и бляхахъ, въ своемъ яркомъ одѣялѣ, съ этими картонными скальпами, съ этимъ дѣтскимъ оружіемъ у ногъ. Съ каждымъ днемъ становился онъ безстрастнѣе, спокойнѣе и, свыкаясь съ своею странною ролью, все меньше и меньше напрягалъ свой опеломленный мозгъ, чтобы понять

эту странную правду, похожую на сказку. Конечно, тутъ много значиль и другой факторъ. Эта мягкая перина его ложа, этотъ блескъ его наряда, роскошная сытная пища, вѣчно покойное сидѣнье, отсутствіе заботъ, — все это вмѣстѣ, составляющее самый завѣтный идеаль каждаго охотника-номада, тѣсно связанный съ представленіемъ о блаженствѣ храбрыхъ въ „царствѣ тѣней“, — они тоже неотразимо и незамѣтно, шагъ за шагомъ, дѣлали свое дѣло. Мало-по-малу они ослабили эти нѣкогда стальные мускулы поджараго, худаго тѣла, теперь полнаго жиромъ, налили, обруглили эти нѣкогда угловато-красивыя черты энергическаго лица, притупили мысль и волю, пріучили индѣйца любить и цѣнить это сытое, беззаботное блаженство. Правда, все это блаженство давали ему враги и, можетъ быть, съ какою-нибудь хитрою цѣлью, но не все ли это равно, — все чаще и чаще говорилъ ему какой-то внутренній, доселѣ незнакомый голосъ, — не все ли равно, если онъ не идетъ на вражескіе соблазны, не поидеть никогда, никогда не предасть своихъ братьевъ, когда бы у него потребовали этого прямо? Конечно, онъ, попрежнему, ненавидѣлъ враговъ. Этихъ „блѣднолицыхъ собакъ“, попрежнему, любилъ „своихъ“ и былъ имъ преданъ. Будь эти „свои“ здѣсь, — о, онъ, конечно, былъ

бы съ ними, въ ихъ рядахъ, и впереди, какъ „вождь“. Но эти „свои“ были далеко, за тысячи миль, — такъ далеко, что и птица не долетитъ туда скоро, — о нихъ не было ни слуха; пища была такъ хороша, нарядъ такъ красивъ и мистеръ Смартбой, этотъ колдунъ, такъ близко...

И все замѣтнѣе полнѣлъ индѣецъ, все круглѣе становилось его лицо, все больше слабѣли его мышцы, все дороже становился ему комфортъ. Незамѣтно и тихо угасала мысль и воля человѣка, незамѣтно и тихо таялъ въ индѣйцѣ „великій вождь“

А мистеръ Смартбой, этотъ колдунъ и гений, конечно, все крѣпче потиралъ свои руки. Милліоны росли, слава о добродѣтели укрѣплялась, филинтропія и наряды красивой жены заставляли невольно говорить всѣхъ... Этотъ диварь, чортъ возьми, дѣйствительно принесъ ему счастье и, правду сказать, такіе дураки создаются Богомъ, конечно, только для того, чтобы служить на пользу сметливой головѣ. И не лучше ли, что онъ будетъ жирѣть на своемъ тронѣ, служа живою рекламой, чѣмъ поднимать мятежи и сдирать съ головъ скальпы? Конечно, лучше, и мистеръ Смартбой вполне сознаетъ, что, пустивъ съ его помощью „въ трубу“ конкуррента, округливъ свои суммы, онъ сдѣлалъ вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣйстви-

тельно доброе дѣло. До него всѣмъ приходилось только трепетать передъ этимъ дикаремъ, а теперь онъ сталъ смиреннѣе ягненка. Развѣ, это не дѣйствительная заслуга? пхе!..

Но слава мистера Смартбоя и торжество его супруги поднялись до апогея въ то предестное утро, когда, воспользовавшись своимъ, хорошо ему извѣстнымъ вліяніемъ на индѣйца, онъ заставилъ его сѣсть на козлы экипажа и, такимъ образомъ, прокатился съ визитами по столицѣ. Правда, въ карманѣ его брюкъ на всякій случай былъ запрятанъ пятиствольный ремингтонъ, но предметъ общаго любопытства, этотъ Черный Ястребъ, „великій вождь“, гордый и безстрашный воинъ, все-таки, сидѣлъ на козлахъ въ своей красной тогѣ, въ своихъ чудныхъ перьяхъ. Мистеръ Смартбой глядѣлъ триумфаторомъ; его жена задыхалась отъ счастья, зная, какъ страдаютъ ея завистливыя подруги... И оба, конечно, понимали, что предполагавшаяся кандидатура мистера Смартбоя на открывшуюся ваканцію въ муниципальномъ совѣтѣ получаетъ съ этого утра небывалые шансы. Не чувствовалъ, казалось, не понималъ ничего одинъ индѣецъ. Не все ли ему равно, куда посадить его колдунъ, — на золоченый тронъ или на козлы? Онъ сидѣлъ неподвижно, въ полной апатіи, ни на что не глядя и точно ничего не видя

вокругъ отъ какой-то сосредоточенной, казалось, думы. Но была ли это дума или дрема, — онъ и самъ бы не отвѣтилъ.

— Ахъ, смотрите! Смартбой ѣдутъ съ индѣйцемъ! — такъ кричали всѣ встрѣчные, пораженные невиданною картиною, объ этомъ только и говорили весь день и вездѣ.

Правда, были и завистливыя глотки. Были люди, которые находили, что индѣецъ врядъ ли выигралъ, сидя приманкой на своемъ тронѣ или на возлахъ экипажа. Слышались рѣчи, въ которыхъ говорилось что-то о достоинствѣ свободнаго человѣка, о чести вождя.

Но, само собой разумѣется, это завистливое шипѣніе тонуло въ морѣ общихъ восторговъ и не могло имѣть никакого вліянія на исходъ предстоявшихъ выборовъ въ муниципальный совѣтъ. Нѣтъ, этотъ добрый, умный человѣкъ стоялъ выше всякой клеветы!

А выборы приближались. Мистеръ Смартбой предполагалъ устроить для своихъ сторонниковъ „хорошенькій вечерокъ“, но мистрисъ Смартбой, больше его понимавшая въ этихъ дѣлахъ, остановилась на пикникѣ, и, конечно, настояла на своемъ. Хорошенькій пикникъ далеко за городомъ, на чистомъ воздухѣ, среди скалъ и ущелій, гдѣ такъ хороши виды, съ музыкой, съ танцами на лужайкахъ, — это по-

нравится всѣмъ. Бъ тому же, пикниковъ давно не устраивалось.

— Только, милый Джонни, мы возьмемъ съ собою и индѣйца, — томно взволновалась мистрисъ Нэлли, пріятно налегая на сильное плечо супруга.

— Индѣйца? Это идея, моя милая Нэлли! — весело отвѣтилъ мистеръ Смартбой, трепля ея розовую щечку. — Право, идея! Непременно возьмемъ, пусть-ка онъ разложитъ намъ костеръ по индѣйски! Хе, хе, хе!...

И мистрисъ Нэлли опять задохнулась, предчувствуя, какое впечатлѣніе произведетъ этотъ пикникъ на всѣхъ ея подругъ.

ГЛАВА X.

Какъ опасна излишняя самоувѣренность и до чего доводитъ иногда игра съ томагаукомъ.

Кругомъ опять царила золотая весна.

Красивыя окрестности Вашингтона утопали въ роскошной и яркой зелени, еще пахучей, еще не истомленной зноемъ, не занесенной пылью. Воздухъ былъ мягокъ и ивженъ, небо сверкало своей чистою, глубокою лазурью.

Всѣмъ было хорошо, все ликовало и сіяло радостью, — и люди и, природа...

День клонился къ вечеру, солнце спустилось уже низко, спряталось за вѣтви развѣсистыхъ великановъ лѣса и посылало оттуда, прорывавшіеся севозь чащу, яркіе косые лучи золотого свѣта. Ущелья темнѣли. Внизу подь обрывомъ, въ зіявшей, какъ пропасть, глубокой долинь, уже поднимались и влублились нѣжныя волны вечерняго тумана, фантастическія, такъ похожія на легкія тѣни плывущихъ привидѣній.

Пикникъ, устроенный мистеромъ Смартбоємъ, былъ въ самомъ разгарѣ. Дорогія вина, веселые танцы на этомъ чудномъ, живительномъ воздухѣ, веселыя рѣчи и шутки, звуки очаровательной музыки развеселили всѣхъ. У всѣхъ горѣли щеки, сверкали глаза, всѣ любили „этихъ милыхъ Смартбоевъ“ и чувствовали къ нимъ особенную нѣжность. Подруги мистрисъ Нэлли даже забыли свою зависть.

Одинъ индѣецъ въ своей тогѣ и перьяхъ сидѣлъ у своего костра, разложеннаго „по-индѣйски“, неподвижно, съ виду не то мрачный, не то апатичный... Давно, о, давно не видали его очи того, что теперь открывалось ихъ взору!... На золотомъ своемъ тронѣ, куда пригвоздилъ его этотъ ненавистный колдунъ, онъ совсѣмъ, казалось, забылъ и широкій про-

сторь зеленого луга, и тѣнь дремучаго лѣса, и дивую красоту скалъ и ущелій; его ухо отвыкло отъ шума вольно бѣгущаго потока. Его отвыкшій глазъ сначала, казалось, не хотѣлъ даже вѣрить этой безбрежной, голубой дали, сливавшейся съ небомъ, горизонта. Но теперь онъ видѣлъ — и вспомнилъ... все вспомнилъ! Коснувшись благодатнаго материнскаго лона, проснулся и ожилъ вольный сынъ матери природы и грудь его трепетала неизъяснимымъ счастьемъ, охваченнымъ какою-то несленою тихою грустью, и невидимые, внутренніе очи его тихо рыдали отъ этого счастья. Въ самое сердце текли эти невидимыя слезы, горячія, какъ пламя, и тамъ, въ этомъ закаленномъ, гордомъ сердцѣ, вскипала отъ нихъ дремавшая злоба къ врагамъ, оторвавшимся отъ матери сына... А эта мать все дышала своимъ свѣтлымъ просвѣтомъ, все нѣжнѣе охватывала диваго сына неотразимою чарой ласки! Цѣлая цѣпь видѣній, грезъ, забытыхъ картинъ протянулась предъ духовнымъ окомъ неподвижно сидѣвшаго вождя. Дымъ отъ костра въ спокойномъ, недвижимомъ воздухѣ поднимался тонкою, стройною колонной, все расширявшейся кверху, и гдѣ-то безслѣдно тонулъ въ ясной лазури. Этотъ дымный столбъ говорилъ ему очень много. Тамъ гдѣ-то далеко, далеко... у Скалистыхъ горъ, въ зеленой преріи,

поднимались теперь, въ этотъ часъ, сотни, тысячи такихъ дымныхъ столбовъ и сидятъ у костра не одинъ, а много краснокожихъ... Только нѣтъ у этихъ костровъ „бѣлыхъ“, нѣтъ всего того, что окружаетъ его такимъ своеобразнымъ шумомъ и гамомъ, роскошью и блескомъ. Вся роскошь тамъ—высокая упругая и нѣжная, какъ шелкъ, зеленая трава, весь блескъ—одни косые лучи золотого солнца, да пылающіе пламенемъ островерхія пики горъ, уходящихъ въ самое небо.

Внизу, подь обрывомъ, клубились волны тумана. Онѣ тоже много говорили этому, казалось, дремавшему сердцу. Да, такъ клубятся волны вечерняго тумана у ручьевъ въ глубокихъ долинахъ волнистаго Канзаса. Онѣ тоже принимаютъ тамъ, клубясь и поднимаясь выше, такія же фантастическія очертанія, похожія на чьи-то тѣни, и вольныя дѣти прерій говорятъ, что это души погибшихъ воиновъ. У ручьевъ, при невидимыхъ для смертнаго кострахъ, великія тѣни героевъ ведутъ свои бесѣды и курятъ свою неугасимую трубку.

Дремалъ ли, или не дремалъ индѣецъ, но ему казалось, что онъ уносится куда-то далеко... далеко... Его брови сдвигались... голова опускалась все ниже... онъ не слышалъ веселья „блѣднолицыхъ“.

— Чего онъ сидитъ такой вялый! — крикнула, вдругъ, полная веселья и счастья красивая мистрисъ Бэтси, совсѣмъ забывшая свои нервы, взглянувъ на неподвижную фигуру индѣйца. — Мистеръ Смартбой, смотрите, онъ совсѣмъ спитъ!... Дайте-ка ему вина!

— Вина? Ба, это идея, хе, хе, хе! — весело отвѣтилъ мистеръ Смартбой. — Эй, дайте сюда шампанскаго! онъ, кстати, его никогда не пробовать!

— Вы не боитесь опьянить его? — такъ себѣ, сама не зная для чего, спросила томная мистрисъ Мэри, пока веселый хозяинъ наливалъ стаканъ виномъ.

— Это въ самомъ дѣлѣ немножко рискованно, — вмѣшался блестящій адвокатъ, страстный поклонникъ мистрисъ Мэри. — Мнѣ рассказывали, что самые мирные краснокожіе дѣлаются очень опасными, когда опьяняютъ... Если онъ никогда не пилъ, то это рискованно...

Не боится ли онъ? Рискованно! Пхе! — и мистеръ Смартбой захихикалъ въ отвѣтъ. Онъ знаетъ свою силу, пустяки! Къ тому же, на всякій случай, у него есть и хорошая штучка въ карманѣ. Хе, хе, хе! Онъ совсѣмъ покоришь этого тигра!...

— Эй, Черный Ястребъ, хочешь?

Индѣецъ оторвался отъ своихъ грезъ и видѣній и поднялъ глаза. Весь сіяя улыбкой, колдунъ протягивалъ ему полный, игравшій и пѣнившійся стаканъ.

— Хочешь? Пей!

Да, его губы спеклись, его пылавшее горло, казалось, совсѣмъ пересохло. Всѣ глаза смотрѣли въ упоръ на индѣйца, пока онъ пилъ эту чудную влагу „бѣлыхъ“, сладкую и острую, въ то же время, пріятно щекотавшую небо... О, эти хитрые бѣлые! какъ много они знаютъ, чего не знаетъ никто, какія есть у нихъ хорошія и вкусныя вещи! Славная вода!

— Хорошо?—также сіяя, спросилъ его колдунъ, принимая порожній стаканъ.— Хочешь еще?

Кругомъ запротестовали.

— Слишкомъ много! Довольно! Вѣдь, онъ никогда не пилъ!—но мистеръ Смартбой вновь поднялъ презрительно плечи и захихикалъ.— Пхе! Пустяки,—онъ знаетъ что дѣлаетъ!

— На, пей еще!—весело крикнулъ онъ и налилъ индѣйцу новый стаканъ.— Тааъ, молодець! Ловко! Садись теперь!—и дружески хлопнулъ его по плечу, когда тотъ выпилъ.

Индѣецъ сѣлъ къ своему костру. Веселье продолжалось, музыка играла, всѣ становились еще довольнѣе и счастливѣе. Прелестныя пары кружились въ вальсѣ, забывъ не только ин-

дѣйца, но и все, казалось, на свѣтъ. Да и стоило ли о чемъ-нибудь думать или помнить въ такой веселый, прелестный часъ? Всѣмъ хотѣлось только еще больше шума, веселья и, если можно, еще больше самозабвенія.

А вождь сидѣлъ у костра и чувствовалъ ясно, что съ нимъ творится какое-то новое чудо. Были-ли то чары этой выпитой имъ сладкой воды „бѣлыхъ“, или такъ повліяли на него его видѣнія и грезы, только онъ сознавалъ, что становится, вдругъ, какъ-то инымъ, совсѣмъ не прежнимъ. Онъ сталъ легче,—до того, казалось, легче, что могъ бы носиться въ воздухѣ, точно у него выросли крылья, какъ у птицы. Грудь его начинала дышать полнѣе и чаще, сердце забилося скорѣе, онъ сталъ бодрѣе и сильнѣе, точно крови и силы прибавилось ему отъ этой странной, шипѣвшей воды. И все кругомъ измѣнялось... Онъ не видитъ уже этихъ „бѣлыхъ собакъ“, не видитъ колдуна. Этотъ гамъ и шумъ, казалось, чѣмъ-то роднымъ и близкимъ,—можетъ быть, до сихъ поръ забытымъ только,—щекочетъ его проснувшійся слухъ. Да, это шумъ и говоръ его родныхъ селеній!... Вонъ, у лѣса, въ глубоко-зіяющей долині, внизу стоятъ ихъ „вигвамы“, родные „вигвамы“,—онъ ихъ видитъ вдругъ прозрѣвшими очами. Это ихъ костеръ,—нѣтъ, не одинъ... два,

три... сотни костровъ горять и дымятся!.. Вонъ туманятся, клубясь, ручьи зеленой преріи внизу, подъ обрывомъ и въ этомъ туманѣ плывутъ великія тѣни почившихъ героевъ... Онѣ манять, зовутъ его, великаго вождя, такъ смѣло водившаго краснокожихъ братьевъ къ побѣдамъ... Да, онѣ опять вождь!... Онѣ не рабъ, не игрушка для вражескаго любопытства, не измѣнникъ, забывшій своихъ за удобствами и нѣгой, онѣ никому не продался!... Нѣтъ, онѣ все тотъ же вождь, непреклонный и гордый, — онѣ только спалъ до сихъ поръ, спалъ какимъ-то страннымъ, очарованнымъ сномъ! Его ожившее ухо ясно слышитъ — тысячегрудый призывъ его братьевъ! Къ нимъ-же, туда — къ этимъ „вигвамамъ“, къ этимъ великимъ тѣнямъ!... Къ нимъ, къ нимъ... туда!...

И самъ собою вырвался внезапно изъ его ожившей груди этотъ гортанный боевой кличъ вождя, и звонко прорѣзалъ общій гамъ ликования. Такъ кричитъ въ голубомъ эфирѣ одинокій журавль, когда увидитъ издали родную стаю... И точно привѣтъ этой стаи, отвѣтило вождю многоголосое эхо дремавшихъ скалъ, ущелій и лѣса... Всѣ гости пикника невольно вздрогнули и остановились.

— Что это съ нимъ? Онѣ, попрежнему, сидитъ?... Онѣ, кажется, совсѣмъ опьянѣлъ?

— Ахъ, это онъ запѣлъ, вѣроятно... Мистеръ Смартбой, прикажите ему, въ самомъ дѣлѣ, спѣть индѣйскую пѣсню!—опомнилась первая мистрисъ Бэтси.—Право, сэръ, прикажите!... Это очень интересно...

— Да, въ самомъ дѣлѣ, прикажите ему спѣть!... Онъ, кажется, совсѣмъ уже того!—подхватили, смѣясь, гости.

— Это идея!... Черный Ястребъ, спой-ка намъ, братъ, свою пѣсню!—небрежно, но властно кинулъ ему мистеръ Смартбой.

Индѣецъ поднялъ посоловѣлые, ничего, казалось, не различавшіе, не понимавшіе глаза.—Хорошо, онъ споетъ, конечно, разъ этого требуютъ свои, откликъ которыхъ онъ слышалъ. Онъ послушенъ ихъ велѣнью—призыву, волѣ „великихъ тѣней“...

И онъ запѣлъ ее, эту страшную боевую пѣсню его братьевъ. Могучимъ движеніемъ поднялся онъ съ мѣста, выпрямился и, смотря вдругъ загорѣвшимися, воспаленными глазами туда, гдѣ стояли „вигвамы“, гдѣ витали въ туманѣ души почившихъ героевъ,—въ эту страшную пропасть, — онъ пѣлъ имъ свою дикую, вольную пѣсню. И по мѣрѣ того, какъ онъ ее пѣлъ, по мѣрѣ того, какъ рѣзкіе гортанные звуки все смѣлѣе вырывались изъ его груди, онъ, казалось, росъ все выше и выше, дѣлался все легче, загорался все

большую страстью, становился все могучѣе и сильнѣе.

Онъ пѣлъ о блаженствѣ погибшихъ въ кровавой сѣчи, о Духѣ пустыни, къ чьимъ звѣзднымъ полямъ отходятъ тѣни храбрыхъ... О вѣчной, блаженной охотѣ, о золотомъ оленѣ, буйволѣ и лосѣ въ необозримыхъ лугахъ Великаго Духа... Онъ пѣлъ, что онъ вождь, водившій своихъ братьевъ къ побѣдамъ...

Онъ пѣлъ, а великія тѣни внимали...

Онъ пѣлъ о враждѣ къ бѣлымъ, трусливымъ, какъ зайцы, обманомъ ворвавшимся въ вольную прерію его братьевъ; онъ пѣлъ о геройствѣ этихъ братьевъ; онъ пѣлъ о страданіи и мукахъ, о томъ, что ударилъ святой часъ отмщенія; онъ призывалъ краснокожихъ къ жестокому бою...

Онъ пѣлъ... и великія тѣни отвѣтили тысячнымъ эхомъ...

— Смотрите, смотрите, онъ пляшетъ! — вскричалъ кто-то изъ толпы заинтересованныхъ невиданнымъ зрѣлищемъ гостей. — Ахъ, какъ онъ смѣшонъ!

Да, онъ плясалъ ее, воинственную пляску краснокожихъ, надѣляющую пляшущихъ такою страстной отвагой. Она поднимаетъ духъ и удесетеряетъ силы. Онъ слышалъ этотъ громкій боевой кличъ, общій откликъ на его призывъ оттуда, снизу. Это войны ото-

звались на пѣсню призывную своего великаго вождя и, готовясь въ бой, онъ долженъ проплясать боевую пляску...

— Мистеръ Смартбой, дорогой сэръ! — взмолились дамы, — пусть онъ намъ покажетъ свое искусство! Пусть онъ покажетъ, какъ метаютъ индѣйцы томагаукомъ.

— Томагаукомъ? Ахъ, да, — здѣсь есть онъ, — мы захватили для рубки хвороста!... Эй, Черный Ястребъ! — крикнулъ веселый мистеръ Смартбой, взявъ въ руки топорикъ. — Эй, слушай!

Но тотъ плясалъ. Тамъ, внизу, плясали съ нимъ и великія тѣни. Онъ видѣлъ, какъ мѣрно колыхались въ долинѣ ихъ прозрачнобѣлыя очертанія... Они зовутъ его туда, къ себѣ, внизъ. — въ вольную прерію, къ роднымъ „вигвамамъ“ его воинственныхъ братьевъ... Онъ слышитъ и его сердце трепещетъ восторгомъ, загорается страшною отвагой...

— Слушай! Что же ты это? Ну-ка, покажи, какъ швыряютъ у васъ томагаукомъ!...

Чей это голосъ, чей дребезжащій смѣхъ коснулся слуха великаго вождя, готоваго ринуться въ объятія безсмертныхъ тѣней героевъ?! Чей это холодный, безстрастный взоръ смотреть прямо въ его воспаленныя очи? Кто смѣлъ коснуться вождя и остановить его пляску? Кто?!... Индѣецъ не узнавалъ и не

понималъ ничего... Бросить томагауэв?! За-
чѣмъ?!

Мистеръ Смартбой отошелъ уже къ гос-
тямъ, а тотъ все еще стоялъ неподвижно,
ничего не понимая и не узнавая... И вдругъ—
онъ узналъ! Возбужденное лицо индѣйца мо-
ментально исказилось бѣшеннымъ гнѣвомъ,
глаза запылали еще ярче. Дикій крикъ, по-
хожій на стонъ, вырвался изъ его сжатыхъ
губъ и разнесся внизу по долинь, предупреж-
дая братьевъ о томъ, что врагъ ихъ близко.
Какъ!? и сюда? Къ границамъ его свободныхъ
братьевъ осмѣлился проникнуть этотъ подлый
колдунъ? И стоитъ и смѣется глазами?! Но-
вый бѣшенный крикъ предупрежденія вырвался
изъ устъ индѣйца, и видѣлъ онъ, какъ за-
колыхались, задвигались на него великія тѣни,
какъ бросились внизу къ оружію его красно-
кожіе воины... Сейчасъ, одну минуту—и онъ
будетъ съ ними!... Только одно мгновеніе,—
онъ сведетъ свои счеты!... Теперь онъ вождь
и не боится колдуна!...

— Ну же, швырай скорѣй,—хоть въ эту
сосну, что ли!

Бронзовая рука поднялась съ томагаукомъ
высоко надъ красною тогой и пувомъ бѣлыхъ
перьевъ и медленно описывала круги... Всѣ
гости пикника съ лихорадочнымъ петершнѣ-
емъ уставились жадными глазами въ индѣйца...

А тотъ стоялъ неподвижно и, еслибъ не это слабое движеніе руки, его можно было бы принять за античную статую, отлитую изъ мѣди. Но вдругъ эта вытянутая рука рѣзко откинулась назадъ и на мгновенье какъ бы застыла неподвижно. Еще одно сильное и быстрое движеніе, — скорѣе кистью, чѣмъ всею рукой, — что-то мелькнуло въ воздухѣ, свистнуло... и мистеръ Смартбой съ раскросеинымъ на-двое черепомъ уналь къ ножкамъ прелестной мистрисъ Бэтси.

— Ахъ!

Какъ бы въ отвѣтъ на этотъ общій крикъ ужаса ликовавшихъ гостей, въ тихомъ вечернемъ воздухѣ далеко разнесся торжествующій, гортанный хохотъ... Великій вождь извѣщалъ своихъ о побѣдѣ. Оттуда, снизу, они отвѣтили ему громкимъ эхомъ и дикій хохотъ гулко катился по глубокой долинь... Костры его братьевъ вспыхнули ярче... „великія тѣни“ дрожали привѣтомъ....

И прежде чѣмъ кто-либо изъ ошеломленныхъ гостей могъ двинуться съ мѣста, индѣецъ прыгнулъ съ обрыва. Непобѣдимый вождь, ставшій легче птицы, ринулся въ пропасть къ „великимъ тѣнямъ“ и братьямъ...

.....

Въ столицѣ естественно всѣ приняли въ ужасъ отъ такой черной неблагодарности....

ИЗЪ СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.

ИЗЪ ЛЮБВИ...

РАЗСКАЗЪ.

Дрaво же, нашъ городокъ совсѣмъ напрасно обвинялъ предобрѣйшаго Кузнечикова въ крайнемъ пессимизмѣ... Если, правда, онъ и утверждалъ съ такимъ жаромъ, что у людей даже горячая любовь и самое искреннее желаніе добра приносятъ часто объектамъ того и другаго однѣ лютыя муки въ результатѣ, разбиваютъ подчасъ всю жизнь человѣка, точно самая злая нелюбовь,—то все-таки это не мѣшало ему любить жизнь, вѣрить въ нее и считать ее великимъ благомъ. И обвинялъ онъ въ такихъ случаяхъ не „бытіе“, какъ дѣлаютъ это дѣйствительные пессимисты, а непомерно-де раздутый эгоизмъ, и властолюбіе современнаго человѣка, мѣшающіе будто бы хорошо видѣть и понимать изъ-за своего „я“ — чужое, а слѣдо-

вательно уважать и принимать въ расчетъ желанія, потребности и особенности этого чужаго „я“. Неменьшее значеніе придавалъ онъ тутъ и разнымъ установившимся издавна понятіямъ, представленіямъ или „предразсудкамъ“, по его словамъ, нашего жизненнаго обихода, гдѣ все-де размѣрено и подведено по рубрикамъ еще отъ дѣдовъ, заставляющимъ-де глаза человѣка и заставляющимъ его будто бы поступать не по разуму и совѣсти, а по той или иной „рубрикѣ“.

— Вымотаютъ у человѣка душу и сердце, — кричалъ онъ, — напихаютъ вмѣсто нихъ всякихъ „рубрикъ“ съ ярлыками „се, моль, добро, а се зло“, „се добродѣтель, а се порокъ“, — и пустятъ гулять по свѣту, не разбираясь, такъ ли оно или не такъ... Ну, какова же и будетъ „любовь“ такого человѣка?! Что изъ его „желанія добра“ выйдетъ, — будь онъ хоть самыя разгорячія и самыя разыскреннія?!..

— А то выйдетъ, — отвѣчалъ нашъ „философъ“, — такъ звалъ городокъ зрителя училища (и голова же былъ этотъ „философъ!“), — а то выйдетъ-съ, что, получивъ твердыя правила, человѣкъ и будетъ всегда поступать правильно-съ!

— И чужую жизнь разобьетъ!?

Истина требуетъ сказать, что, выпаливъ такой парадоксъ, Кузнечиковъ немедленно иллюстрировалъ его фактами, хотя, конечно, съ извѣстными натяжками. Онъ ссылался на генеральшу Пистонову, что выдала насильно свою единственную и любимую дочь, влюбленную было въ лохматаго учителя, — за старика богача Распекаева, чѣмъ, естественно, испортила всю ея жизнь. Кузнечиковъ увѣрялъ, что тутъ-де виноваты все тѣ же эгоизмъ, властолюбіе, а главное тѣ же внѣдренныя съ дѣтства „рубрики“ съ ярлыками: „*mesaliapce*“, „счастье въ богатствѣ“ и т. д., которыя заслонили генеральшѣ ея любовь и совѣсть. Онъ ссылался и на Федину мамашу, заставлявшую сына хватать черезъ силу „пятерки“ въ классѣ, вмѣсто того, чтобы дать ему поотдохнуть, — отчего хилый мальчикъ и закашлялъ кровью. Ссылался и на добродѣтельную историческую старушку, подложившую несчастному Гуссу и свои три полѣнца.. Много приводилъ онъ еще разныхъ другихъ фактовъ, прихватывалъ и женъ, и мужей, и отцовъ, — но на указанную старушку упиралъ въ особенности и, какъ увидитъ читатель, имѣлъ на то свои личные и большіе резоны.

Очень можетъ быть, что, не уклоняясь онъ отъ серьезнаго спора, и ему легко до-

казали бы всю ложность его заключеній. Но бѣда была въ томъ, что онъ немедленно умолкалъ, какъ только споромъ заинтересовывались люди солидные и съ большимъ авторитетомъ. Онъ упорно молчалъ, когда нашъ достойный пастырь, отецъ Арефа, сокрушенно заявлялъ, что съ такимъ „пессимизмомъ“, съ такимъ отрицаніемъ твердо установленныхъ „осново-началь“, легко, конечно, сбиться съ истиннаго пути и пойдти по стезѣ лжеученій и поклоненія идоламъ. Онъ молчалъ, когда нашъ достойный исправникъ высказывалъ опасеніе — не подрываетъ ли такой пессимизмъ незыблемости законовъ. А на возраженія болѣе общаго характера, дѣлаемыя другими, на указанія, что такимъ - де путемъ легко прійдти и къ отрицанію принциповъ вообще, — онъ только и кричалъ, сардонически покручивая рыжеватую бородку:

— Принципы! Ишь чѣмъ напугали, — принципами?! Да что такое ваши принципы, какъ не голыя формулы, шаблонное примѣненіе которыхъ къ каждому явленію можетъ принести подчасъ неизмѣримое зло!? Не лги — принципъ! А развѣ вы не лжете больному, скрывая отъ него опасность?! Развѣ не изъза принципа жарила добродѣтельная старушка Гусса, да еще можетъ быть и любовно-то жарила!? Принципы!

За это-то и звали его пессимистомъ, какъ онъ ни злился на эту кличку...

Правду сказать, было время, когда Кузнециковъ былъ совсѣмъ иной. Въ нашъ городокъ онъ прибылъ розовымъ идеалистомъ, полнымъ благоговѣнiя къ принципамъ, въ мягкоѣ, любящей дупъ котораго не было и слѣда какихъ бы то ни было желчи и скептицизма, не только пессимизма. Много, думаю, должны были насолить ему разныя генеральши Пистоновы, Федины мамыши и добродѣтельные старушки, прежде чѣмъ онъ пришелъ къ такимъ ужаснымъ заключенiямъ. Я и хочу рассказать вамъ, что за смѣшная, хотя можетъ быть и грустная, исторiя вышла у него при первой встрѣчѣ въ нашемъ городкѣ съ подобной старушкой.

Какъ и почему явился Кузнециковъ въ наши холодныя палестины, я говорить не буду: во первыхъ, это мало идетъ къ дѣлу; во вторыхъ, онъ и самъ къ этому факту относился какъ-то философски-спокойно: вышла, молъ, такая линiя, — ну, и ничего не подѣлаешь! Онъ не тосковалъ, не грустилъ, не нылъ! а, прибывъ, послѣ долгаго и утомительнаго пути въ городокъ, немедленно усѣлся за любимыя книги, вычисленiя и какой-то мудренѣйшiй трактатъ, за которымъ просиживаетъ иногда цѣлыя ночи, ничего кругомъ

не видя и ничѣмъ другимъ не интересуясь. Кажется, онъ рассчитывалъ въ будущемъ представить этотъ трактатъ какъ ученую диссертацию, и, право, со стороны можно было подумать, что Кузнечиковъ даже вполне счастливъ, получивъ, наконецъ, досугъ и возможность послѣ долгихъ передрагъ и пути предаться любимому дѣлу. Изъ-за этого вѣчнаго сидѣнья за книгой, постоянной замѣнотости, нежеланія войти въ нашъ „кругъ“, участвовать въ нашихъ пикникахъ и вечерахъ, городъ и прозвалъ его сначала „анакоретомъ“.

Знакомство велъ онъ только съ Кожинымъ, университетскимъ товарищемъ, всего за годъ передъ тѣмъ прибывшимъ въ нашъ городокъ на должность окружного врача. Кожинъ, конечно, просилъ его поселиться съ нимъ, пожить хоть немного у него, чтобы лучше ознакомиться въ новомъ мѣстѣ, но тотъ и слышать не хотѣлъ, — ему нужны де были полная тишь и одиночество для излюбленнаго книгоденья. Въ первый же день онъ снялъ себѣ свѣтелку на окраинѣ у одинокой старухи-старовѣрки, смахивавшей по виду на бабу-ягу такъ же точно, какъ ея домикъ на пресловутую „избушку на курьихъ ножкахъ“, сейчасъ же переселился и засѣлъ за свои книги и трактатъ. Кожинъ выѣхалъ въ ок-

ругъ, гдѣ открылась тифозная эпидемія, а когда вернулся, то засталъ своего пріятеля просто въ восторгѣ отъ старухи-хозяйки.

— Не хозяйка, а кладь! — ликоваль онъ.— Ей-Богу, точно родная мать за мной ходитъ!

И старушка въ свою очередь, правду сказать, была имъ очень довольна... То и дѣло бѣгала къ сосѣдямъ и все хвалилась новымъ жильцомъ.

— Такого ужъ Господь послалъ,—такого, что и сказать не могу! — тараторила она, захлебываясь отъ радости, что и жилецъ у нея есть и поговорить съ сосѣдками есть о чемъ.— Воды, слышь, не замутишь, — словно дѣвица красная! Не по здѣшнимъ мѣстамъ человѣкъ! Н-ѣ-ѣ-ть, родимыя не по тутошнимъ!... Чтой-то такихъ я какъ будто и не видывала.

Дни проходили за днями, а обоюдная радость жильца и хозяйки, обоюдное довольство ихъ другъ другомъ все росли и росли. Если добрая отъ природы старуха явилась для Кузнечикова кладомъ, то и онъ для нея въ свою очередь былъ таковымъ же. Скука, вѣчное одиночество, отсутствіе новыхъ впечатлѣній, о которыхъ можно было бы всласть побесѣдовать, „отвести душеньку“ съ разными сосѣдками-старухами, Митревнами, Сидоровнами и т. д.—пріѣтся хоть кому; пріѣлись они дав-

но и Карповнѣ! Новый жилецъ, какой-то странный, необычный, — „тихой“ человекъ, какихъ она еще „не видывала“, кромѣ дохода принесъ ей еще и развлеченье, — хоть душа-то, моль, живая въ домѣ есть — а затѣмъ, казалось, явился и объектомъ, которому она могла, пожалуй, отдать свою неудовлетворенную до сихъ поръ потребность материнскаго чувства, материнской любви, какъ извѣсто, никогда не гложущей въ женскомъ сердцѣ, всегда живой и сверлящей. Въ прошломъ Карповны ничего, кромѣ „ада кромѣшняго“, какъ сама называла она пережитое, не было, о какой бы то ни было ласкѣ не было и помину. Въ дѣтствѣ осталась она круглой сиротой, выдали ее затѣмъ замужь за пожарнаго, прельщеннаго ея крохотной наслѣдственной избушкой, который то и дѣло дежурилъ на каланчѣ, а отдежуривъ, напивался и тузилъ жену за разбитую-де жизнь, пока не сгорѣлъ съ пьяна на пожарѣ, оставивъ ее горемычной вдовой самъ-третей съ избой, коровой, да собакой Жучкой. Только всего и было у нея на бѣломъ свѣтѣ, потому что сыночка-малолѣтка Богъ прибралъ. Ласку, доброе, человѣческое къ себѣ отношеніе, деликатность она узнала только отъ своего „чуднаго“ жильца... И неудивительно, что, присмотрѣвшись, примѣнившись, попривыкнувъ, она незамѣтно для себя самой дѣй-

ствительно привязалась къ нему и привязалась именно такъ, какъ только и могутъ привязываться одинокія старухи, никогда, во всю свою многострадальную жизнь не любившія, можетъ быть, толкомъ. Привлекали ее и скромность жильца, и его дѣйствительно сердечная доброта и ласковость, и наивность въ дѣлахъ жизненнаго обихода, и самое равнодушіе къ своему благу, какая-то непонятная ей, но нравившаяся безопасность въ вопросахъ о личныхъ выгодахъ.

— Такъ ужъ къ ему тянетъ, такъ ужъ тянетъ! — захлебывалась въ восторгѣ Карповна своимъ сосѣдкамъ Митревнамъ и Сидоровнамъ. — Такой ужъ ласковой, такой тихой, ровно, скажу, младенецъ!.. Все ему ладно, что ни сдѣлай, что ни скажи!

— Спервоначалу, можетъ быть! — возражали тѣ немного скептически, проученныя горькимъ опытомъ, чѣмъ только въ сущности подзадоривали счастливую Карповну. — Ты, слышь, дѣвонька, въ оба гляди, — въ оба, слышь, гляди, какъ бы чего, упаси Господи, не вышло... Зна-а-емъ мы эту ласковость, сами видали! Спервоначалу-то всѣ поди такіе... Варнакъ, вѣдь, — откедова прибрель-то!? Въ оба, слышь, гляди!

Старуха глядѣла „въ оба“; въ самомъ дѣлѣ, хитры вѣдь, они, эти пришлые „рассейскіе“

люди, умѣющіе прикидываться ягнатами, чтобы послѣ выпустить свои волчьи когти, остро отточенные тюрьмой, этапами, развратомъ большихъ центровъ, всей сутолокой безалаберной городской жизни и отвращеніемъ къ труду, воспитаннымъ и тѣмъ, и другимъ, и третьимъ! Глядѣла она подозрительно „въ оба“, — но изъ глядѣнья этого, конечно, такъ-таки ничего и не вышло. Жилецъ оставался все по-прежнему добрымъ, ласковымъ и „чуднымъ“ человѣкомъ, все по-прежнему „не мутить и воды“, возился день деньской съ своими книгами, точно ничего больше и знать не хотѣлъ на свѣтѣ. И сердце доброй Карповны таяло все больше и больше.

Очень можетъ быть, что не вздумай Карповна полюбить своего жильца — и они до конца остались бы добрыми пріятелями, она — владомъ-хозяйкой, онъ — разлюбезнымъ жильцомъ. Но, на бѣду свою, она полюбила его ревнивой материнской страстью, полной деспотизма, какъ зачастую бываетъ, и, понятно, заботиться только о томъ, чтобы онъ былъ сытъ, чтобы ему было хорошо, тепло, уютно, спокойно — стало для нея уже мало. Ее вдругъ озаботила и его „душенька“, его духовное „я“, его будущее. Теперь, когда онъ сталъ для нея какъ бы „своимъ“, точно недѣлимой ея частью, ея собственностью, ее стало заботить

и что онъ такое на самомъ дѣлѣ, что онъ думаетъ, кто онъ, зачѣмъ и что за книги вѣчно читаетъ; она стала, наконецъ, ломать голову, почему онъ такой „чудной“, не какъ всѣ, отчего-де такой тихой и скромный. Строгая до фанатизма послѣдовательница своего толка, она съ горечью убѣждалась, что Кузнечиковъ не вѣрить ея предразсудкамъ, не исполнять ея обрядовъ, — но въ то же время видѣла, что изо-дня въ день онъ ведетъ самую „праведную“, скромную, „монашескую“, по ея понятіямъ, жизнь, даже не пьетъ и не курить. Онъ никакъ не укладывался въ рамки съ дѣтства вложенныхъ въ ея бѣдную голову представлений о добромъ и зломъ, праведномъ и неправедномъ человѣкѣ, и это-то смущало ее въ особенности, даже совсѣмъ сбивало съ толку. Въ одно и то же время Кузнечиковъ, казалось, былъ и „праведникъ“ и „грѣшникъ“, и какъ бы „монахъ“ и „нехристь“... Какъ хотите, а тутъ, казалось старухѣ, было что-то „неладно“, было что-то загадочное, чудное, необычайное, что-то такое, что и заинтриговывало вмѣстѣ и какъ будто пугало.

— Ума не приложу сердешныя, — шептала совсѣмъ сбитая съ толку бѣдная Карповна своимъ сосѣдкамъ, — что за чудной-пра-такой человѣкъ!.. Не видывала что-й-то такихъ!.. Пра невидывала!..

— Все въ книжку читаешь, говоришь— угрюмо, недоумѣвая тоже, переспрашивали тѣ.

— Все-е-е, милья! Все въ книжку!—почти плакалась старуха.—Даже въ кровать ляжетъ и то книжку предъ собой держитъ! Нивогда, чтобы слово тебѣ супротивное—ни-ни! Какъ ребеночекъ словно!

Сосѣдки не помогали рѣшенью сложной, головоломной и страшной, казалось, въ то же время загадки и такимъ образомъ любовь Карповны мало-по-малу перешла для нея просто въ пытку, которая только разжигала и бередила и безъ того острое чувство любопытства... Желаніе, потребность во что бы то ни стало проникнуть въ недающійся тайникъ, уяснить и разоблачить себѣ все съ каждымъ днемъ становились сильнѣе. Старуха даже спать перестала и все только лихорадочно металась въ своихъ думахъ, догадкахъ, безповойствѣ, зорко слѣдя за жильцомъ, за каждымъ его шагомъ, ничего не видя такого, что помогло бы уясненію, и ничего не понимая въ то же время. А бѣдняга-Кузнечиковъ, не подозрѣвавшій даже и во снѣ, не только на яву, ни этой любви, ни пытки, не замѣчавшій страннаго, лихорадочнаго безпокойства хозяйки, съ каждымъ днемъ давалъ все больше и больше поводовъ для новыхъ недоумѣній, сомнѣній, тревогъ, и все сильнѣе запутывалъ таинственный узелъ.

— Пра, слышь, дѣвоньки, ума не приложу!—удивлялась и ахала Карповна предъ сосѣдками.—Вотъ, хоть голову сръжь! Она-меднись я чайникъ разбила, полоскавши, а а енѣ хотѣ бы тебѣ словечко!

— Ну-у?!—недовѣрчиво и удивленно тянули сосѣдки.

— Вотъ не сойди мнѣ съ мѣста!.. Хотѣ бы словечко! Сама же на него, дѣвоньки закричала: добра, молѣ, тебѣ своего не жалѣ, что-ли?—а енѣ только ухмыляется!

— Ухмыляется?!

— Только! Ну, что-жѣ, говорить, разбила, такъ разбила, — на то, вишь, онѣ изъ глины, что-жѣ, молѣ, дѣлать-то!? Новый говорить, куплю! Да еще и штаны Митькѣ-посельщику подарить, почитай совсѣмъ новые!... Ну, и чудной - же дѣвки, пра, чудной?

Сосѣдки съ какимъ-то сожалѣніемъ чудного человѣка, недоумѣвая, покачиваютъ головами. Такихъ онѣ не видывали!.. Чтобы безъ единого словечка за разбитое?! Опять же штаны?! чайникъ!? Нѣтъ, тутъ несомнѣнно есть что-то особенное!..

— И виномъ, говоришь, не занимается?

— Ни-ни! Ни Боже мой!—клянется Карповна.— Не видывала! Нимаковой росипочки,— не сойди я съ мѣста! Ужѣ я день-деньской

все въ щелку-то гляжу, всѣ глаза проглядѣла, милая, а ничего такого не видывала! Ни Боже мой! Вотъ те Христось!

— Все въ книжку читаетъ!?

— Все-е, милая! Съ утра, слышь, только поднимается, такъ и клюетъ въ нее, да строчить, знай! Ч-у-д-н-ой, пра! — качаетъ Карповна головой. — И ваки-тави книжки?! Свяття, чтоль?

Она не договариваетъ и въ смущеннѣ умолкаетъ. Ей даже страшно подумать, что эти книжки могутъ быть не свяття, а какія-нибудь... кто его знаетъ какія! Страшно и за себя, и за свою любовь, и за „свойну душеньку“..

— А ты попытай его! Попытай, Карповна, можетъ, что и скажется! — надоумила ее разъ сосѣдка. — Что-й-то сумленіе беретъ меня... Какой-такой праведникъ въ нашихъ мѣстахъ вдругъ объявился!.. Попытайко - съ его виномъ спервоначалу!

Для Карповны, втайне сторавней лихорадочнымъ любопытствомъ, такой совѣтъ пришелся какъ разъ по вкусу... Отчего въ самомъ дѣлѣ и не попытать, мало она, что-ль, изъ-за него уже настрадалася?! Авось праведность-то вся разлетится и человѣкъ объявится каковъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, а съ ея души тогда и вся тяжесть заботы спа-

детъ. Мало-ли людей притворяется, отъ вина отрещируется, а, глядишь, прорветъ его, — и валяется онъ гдѣ нибудь подъ заборомъ на срамоту и на смѣхъ! А можетъ отъ вина и расскажетъ что... Вино веселить, языкъ развязываетъ; перестанетъ онъ букой сидѣть да въ свою псалтырь-не псалтырь глядѣть!..

Такъ думала бѣдная Карповна, глубоко возмущенная и даже какъ будто обиженная, что тайникъ ей никакъ не дается и все остается такимъ же тайникомъ. Злорадно, казалось, ухватила она за поданный ехидный совѣтъ, но доброе сердце старухи, конечно, трепетало въ то же время отъ страха и жалось бы невыразимой болью, приведи это „пытанье“ къ чему нибудь нехорошему. Такая непослѣдовательность и раздвоенность наблюдается часто въ жизни. Развѣ не такъ-же говоритъ раздосадованная мать своему шалуну ребенку, не смотря на всѣ уговоры тянущемуся къ свѣчѣ; — „ну... на, бери!“, чтобы затѣмъ сейчасъ же страстно пожалѣть и любовно разцѣловать потянувшіеся къ огню ручки? Или, еще лучше, — не такъ ли же „пытаетъ“ эта самая мать своего лакомку, нарочно оставляя на столѣ запретные соблазны, а сама лихорадочно наблюдая за нимъ съ затаеннымъ страхомъ со стороны?... Но Кузнециковъ, какъ и слѣдовало ожидать, — и не

подозрѣвавшій истиннаго характера приста-
ванья Карповны съ водкой за обѣдомъ, при
всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, —
„пытанье“ выдержалъ блистательно. Онъ дѣй-
ствительно и въ ротъ не бралъ никогда хмѣль-
наго. Такимъ образомъ, какъ ни билась Кар-
повна, но изъ ея „пытанья“ ничего кромѣ
новыхъ доводовъ въ пользу „праведности“
жильца не получалось. Пробовала она остав-
лять вино въ его свѣтелкѣ, точно по забыв-
чивости, — авось, молъ, коли притворается,
самъ на самъ-то и не выдержитъ, — но опять
ничего не выходило... Какъ ни слѣдила Кар-
повна въ свою щелку, водка не убывала, —
жилецъ совсѣмъ точно и не видѣлъ ее!

— Не беретъ! Ни к-а-а-пельки, милая! —
шептала старуха надоумившей ее сосѣдкѣ. —
И не глядитъ даже! Въ ротъ, говоритъ, не
беру, — вотъ те Богъ! Какъ ужъ я ни при-
ставала, — не беретъ, слышь! — Духу, гово-
рить, не выношу!

— Ну, а ты его теперь дѣвицей попытай!
Супротивъ этого оно трудно, слышь! Ежели
супротивъ нея выстоять, — ну!.. Умная со-
сѣдка не договорила, а только руки развела.

Началось новое „пытанье“ и ободренная
неудачей старуха повела его гораздо смѣлѣе.
Бъ удивленію ничего не подозрѣвавшаго Куз-
нечикова вѣчно тихая, безмолвная кухонья,

гдѣ только трещали до сихъ поръ сверчки да
бряхтѣла Карповна, превратилась въ шумную
сибирскую „вечорку“ съ гармоніей, пѣніемъ
и плясомъ. Красавицы дѣвки, одна другой
лучше, „шутили шутки“ съ парнями, водили
плясъ и поднимали такой содомъ, что бѣд-
някъ волей-неволей долженъ былъ оставить
свои книги. Онъ вышелъ поглазѣть. но вель
себя, конечно, такъ, что у надоумившей Кар-
повну сосѣдки совсѣмъ опустились руки. Не
только не ухаживать за красавицами, не
только не „шутить вольныхъ шутокъ“, но и
выглядѣлъ какимъ-то строгимъ старцемъ, не
то красной, жеманной дѣвицей.

— Да ты что-жь букой-то стоишь! — оклик-
нула она его, — что жмешься-то недотрогой! —
Ну-ко-сь въ плясъ!..

Ай, вы дѣвки красныя, вес-ё-ё лыя,
Вы лебедки не ущ и п-пныя!

залилась она вдругъ визгливымъ фальцетомъ,
прихлопывая въ ладони.

— Ну-ко-сь, возьмите его, красавицы, что
ему идоломъ-то стоять! Ну-ко-сь! — выходила
она изъ себя.

Дѣвушки взяли Кузнечикова, но онъ вы-
глядѣлъ такимъ растеряннымъ букой, такъ
переконфузился, такъ неуклюже двигался.
бормоча одно и тоже: „я не умѣю“ да „я не

умѣю“, — что волей-неволей пришлось его оставить.

„Вечорка“ шла за „вечоркой“, а Кузнециковъ не только не увлекался, но даже сердито уходилъ изъ дому, заслышавъ издали приближающіеся гамъ и топотъ. Очевидно, такъ дѣло не выгорало, и старуха рѣшилась на героическое средство.

— Что-й-то я тебѣ скажу, слышь! — начала она, совсѣмъ неожиданно войдя въ свѣтелку, какъ разъ въ то время, когда Кузнециковъ дописывалъ въ своемъ трактатѣ что-то крайне важное. Онъ слегка поморщился, но встрѣтилъ ее по обыновенію ласково.

— Что скажешь, Карповна! — отвѣтилъ онъ, владя перо и поворачиваясь, но, очевидно, плохо слушая, глубоко занятый своими мыслями. — Что скажешь?

— Надзирателю дѣвушку знаешь?

— Какую-такую надзирателю? — недоумѣвая, вытаращилъ Кузнециковъ глаза и сдвинулъ брови.

— Баскую такую, изъ себл полную, — что въ намереномъ годѣ у надзирателя жила... Анютой звать, — бѣленькая такая, слышь! Аль не помнишь, — пѣсни даве заводила?!

— Анюту?! — какъ же, помню!

— Ну, ну... Такъ она, слышь, пересказать тебѣ велѣла, что ежели... коли что...

такъ она съ полнымъ своимъ удовольствіемъ... Потому, похвалился ты ей...

Кузнечиковъ сразу не понялъ, а когда разобралъ, то покраснѣлъ какъ маковъ цвѣтъ и насунился волкомъ.

— Нѣтъ, Карповна, — сурово отвѣтилъ онъ пытливо всматривавшейся въ него старухѣ; — нѣтъ, — ты это оставь! Нехорошо это, Карповна!..

Старуха вспыхнула, — ее вдругъ прорвало.

— Чѣмъ коришь-то!? Что туточка нехорошаго!? Монахъ ты, что ль — говори!? — наступала она расхोлившись. — Монахъ!? Какой такой-монахъ.?

— Ну, монахъ, — будь по-твоему; только оставь это! — нетерпѣливо отвѣтилъ Кузнечиковъ, чтобы скорѣе отвязаться, и повернулся къ работѣ.

— Монахъ!? Нѣтъ, ты говори! — наступала не унимаясь старуха. — Ты толкомъ скажи... Монахъ! А въ постный-то день скоромное? А лобъ-то часто-ль крестишь? А платье-то на тебѣ, — а...

Кузнечиковъ молча взялъ шапку и вышелъ раздосадованный. Онъ недоумѣвалъ, что это вдругъ стряслось такое съ тихой, доброй старухой, и отчасти винилъ себя, что можетъ быть слишкомъ рѣзко отвѣтилъ ей на ея наивную, совершенно въ характерѣ мѣстныхъ

простыхъ правозъ, болтовню. Тѣмъ не менѣе, царившій до сихъ поръ миръ былъ уже нарушенъ, и во всякомъ случаѣ Кузнечиковъ чувствовалъ себя уже не такъ правольно какъ прежде.

А старуха совсѣмъ растерялась, даже испугалась немного этого молчаливаго ухода. Она сейчасъ же, конечно, побѣжала каяться сосѣдкамъ, прося „наставить на умъ“ и выручить совѣтомъ изъ этой каши „пытанья“. Тѣ, конечно, тоже ахали вмѣстѣ съ нею.

— А можетъ человѣкъ въ самъ-дѣлѣ спасается? — поколебалась недоумливавшая на „пытанье“. — Кто его знаетъ?! Разное, вѣдь, на свѣтѣ бываетъ, дѣвонья!.. Можетъ и спасается....

Покой старухи былъ нарушенъ окончательно. Цѣлыя ночи на пролетъ металась она какъ въ лихорадкѣ на печи, сильно заинтересованная этой возможностью „спасанья“, тщетно ломая голову надъ необъяснимыми противорѣчїями: „монахъ“ и скоромное, „праведникъ“ и грѣшникъ, „спасается“ и живетъ на міру и ходитъ въ нѣмецкомъ платьѣ. Безъисходный сумбуръ наполнялъ ея голову, но потребность разобраться въ немъ, уяснить себѣ всѣ эти противорѣчїя, все загадочное, таинственное, — росла и росла. Приставать къ Кузнечикову она больше не рѣшалась, а сама до-

биралаеъ до всего, страшно напрягая всѣ силы своего мозга, давнымъ-давно все рѣшившаго, все опредѣлившаго, всему давшаго свою форму, въ которомъ все было подведено еще съ дѣтства подъ строго опредѣленную рубрику, отъ дѣда къ внуку переходившими положеніями. До сихъ поръ тамъ все, казалось, было ясно, каждое явленіе имѣло свое опредѣленное имя, вполне ему соотвѣтствовавшее: то-то было „грѣхомъ“, то-то „святостью“, это — „правдой“, то — „неправдой“, „монахъ“ долженъ быть непременно такимъ, а „грѣшникъ“ вотъ такимъ; теперь же тамъ все смѣшалось, все спуталось, какъ скомканныя нитки... День проходилъ за днемъ, ночь за ночью, а путаница, сумбуръ все росли и росли...

Очевидно для старухи было одно, что жилецъ ея не то, что всѣ, а несомнѣнно что-то иное... Но что же именно такое?—вотъ этого-то она и не могла рѣшить никакъ. Ея положительно сбивала съ толку эта „праведность“ жизни, замѣнутость, скромность, неустанное чтеніе и т. д., — все, что такъ рѣзко отличало Кузнечикова отъ „другихъ прочихъ“. Ну, развѣ не „монахъ“ только не курить, не пьеть, бѣжить красавицъ, запирается отъ свѣта, относится ко всѣхъ любовно и мятко? Несомнѣнно, одинъ только монахъ, потому-что всѣ, безусловно всѣ люди, не монахи, посту-

паютъ иначе... Съ этой стороны жилецъ всецѣло, казалось, входилъ въ рамку ея издавна, еще съ дѣтства сложившагося представленія о „монахѣ“. Но какой же онъ монахъ? Что значить эта грѣховная сторона его? И какіе же могутъ быть на свѣтѣ другіе еще монахи, кромѣ извѣстныхъ ей „божыхъ“ монаховъ въ черныхъ расахъ, съ черными влобуками, изможденныхъ строгимъ постомъ и молитвой?

Разъ вопросъ былъ поставленъ такъ, Карповна уже приблизилась къ его рѣшенью...

И дѣйствительно, въ одну глухую, бессонную ночь на нее вдругъ снизошло вдохновенье. „Монахъ то онъ монахъ, — точно зашепталъ въ ней какой-то внутренній голосъ, — въ этомъ нѣтъ сомнѣнья, но не настоящій, не „божій“, — вотъ въ чемъ бѣда! Настоящій-то монахъ насчетъ „скромнаго“ и прочаго — не такъ... Какой же онъ, чей же монахъ“?—Ее начиналъ охватывать почему-то ужасъ, она старалась заглушить свои страшныя мысли, старалась не думать, но тотъ же назойливый внутренній голосъ все продолжалъ и продолжалъ свое... Чей же онъ въ самомъ дѣлѣ? Миръ она дѣлила на божій и чортовъ, людей дѣлила такъ-же. Чей-же?! И вдругъ въ ней какъ будто просвѣтлѣло. А что, если „чортовъ“?—смутно зашевелилось въ ней.—Что, въ самомъ дѣлѣ, если

„чортовъ“?! Отчего-же бы чорту и не имѣть своихъ монаховъ?!

Старуху объялъ холодный, бездонный ужасъ. Зубы ея застучали какъ въ лихорадкѣ, въ испуганномъ, возбужденномъ мозгу роились страшные черти, вставали призраки кромѣшного ада, бряцали цѣпи, шипѣла смола, уготованная для „него“, а можетъ быть уже и для нея. Сначала она какъ будто и не повѣрила себѣ, но сознание, какъ бы обрадовавшись, цѣпко ухватилось за ужасное открытіе и невидимый внутренній голосъ неопровержимыми силлогизмами разбѣвалъ одно за другимъ всѣ сомнѣнія. Онъ шепталъ ей, что жилецъ ея „варнакъ“, напоминалъ о скоромномъ, о другомъ, о третьемъ, и страшное убѣжденіе, повергавшее все въ большой ужасъ, вползало въ душу на мѣсто сомнѣнія. Неужели въ ея свѣтелѣ изо дня въ день совершалось какое-нибудь таинственное колдовство по этимъ страннымъ, совсѣмъ непохожимъ на святаго, книгамъ? Неужели такому она отдала и свои помыслы, и сердце, и ласку? Старуха вскочила въ неописуемомъ страхѣ, зажгла предъ иконою освященную свѣчку, зашептала святаго молитвы...

Но съ сердцемъ своимъ она все-таки совладать не могла. Къ ея ужасу оно подсказывало ей не проклятыя, билось не злобой, не

гнѣвомъ, — оно учило ее спасти несчастнаго, спасти во что бы то ни стало. Да, спасти! — Добрая Карповпа готова была для этого на великую жертву. И это одно, конечно, было уже большимъ грѣхомъ, — но что же могла она сдѣлать съ собою, если бившемуся страхомъ сердцу было въ то же время и такъ невыразимо жаль?.. Ей хотѣлось только убѣдиться во всемъ во очію, неопровержимо и непоколебимо, а это, казалось, было нетрудно.

Она быстро придумала ловушку.

День Кузнечиковъ провелъ у своего пріятеля Кожина, а вечеромъ, вернувшись домой и войдя въ свѣтелку, засталъ ее полною густаго, непроницаемаго ладоннаго дыма, тяжелыми клубами висѣвшаго въ воздухѣ, обволакившаго все. Въ удивленіи остановился онъ среди своей свѣтелки, растопыривъ руки и поводя изумленными глазами... Пуще всего на свѣтъ, кажется, боялся онъ угара, а между тѣмъ густой дымъ просто душилъ, бѣднякъ задыхался и закашлялъ во всю мочь.

А старуха слѣдила за каждымъ его движеніемъ жаднымъ, лихорадочнымъ взглядомъ и сердце ея колотилось въ испугъ и тревогѣ все сильнѣй и сильнѣй. Она замѣтила его смущеніе, изумленіе, даже испугъ, какъ ей казалось, и убѣдилась во всемъ! Теперь послѣднее сомнѣніе, если таковое и было, — разлетѣлось прахомъ. Лицо ея вытянулось.

— Что ты? Что это такое? Зачѣмъ?—недоумѣвая бормотала Кузнечиковъ, задыхаясь. — Зачѣмъ это, Карповна?

— А-а-а!? Н-н-не любишь?! — злорадно протянула та въ отвѣтъ и въ тонѣ ея голоса ясно зазвучали и ужасъ, и хищная радость пойманнаго дичь охотника. — Н-н-не любишь!?

— Да, вѣдь, я задохнусь! — голова разболится! Что ты, помилуй?!

Но та торжествовала. Подперевъ щеку рукой, не спуская съ него лихорадочно блестящаго злораднымъ торжествомъ взора, она продолжала тянуть свое:

— Н-не любишь?! Голова заболить!? Головы жалко!? А „душеньки“, небось, нѣтъ? „Душеньки“ не жалко?

— Какая душенька? Что съ тобой? — всеѣмъ недоумѣвалъ Кузнечиковъ.

— Какая душенька?! — съ укоромъ, качая головой, переспросила Карповна. — Ишь ты, не знаешь!? Какая душенька!? А ты не вертись, — покайся, слышь! Все-ѣ-ѣ знаю! Все! Ладону боишься. А ты его не бойся, — для душеньки своей не бойся! На пользу онъ ей, — на добро! — уже всхлипывая упранивала любящая старуха.

— Да ты хмѣльна, Карповна, что-ли? — все еще недоумѣвалъ Кузнечиковъ, понемногу раздражаясь.

— Хмѣльна!? Ишь ты, что выдумаль! Не хмѣльна, а любя говорю, — для душеньки, для твоей, брось свою нечисть, оставь! Повайся, говорю! Брось его, — отрекись!

— Да кого „его“? — выходиль уже изъ себя Кузнечиковъ, ничего не понимая.

— Н-не зна-а-ешь!? Ишь! Да своего-то, — пропади онъ совсѣмъ, окаанный! Тьфу на него! Отрекись, говорю, брось! О душѣ-то своей подумай! Святъ, святъ, святъ!... — забормотала, совсѣмъ плача, старуха.

— Ну, вотъ что, Карповна, я съѣду, если еще разъ! Я не могу! — говорилъ внѣ себя Кузнечиковъ, ничего по-прежнему не понимая и думая, что старуха рехнулась. — Ей-Богу, съѣду!

Онъ нахлобучиль шапку и выбѣжалъ на улицу.

— Не серчай, Филиппычъ! — молила та его въ догонку. — Не серчай, сердешный! Для добра, вѣдь, для душеньки твоей! Любя, вѣдь, Филиппычъ! Фи-ли-ппычъ!...

Но тотъ бѣжалъ безъ оглядки и прямо къ доктору.

— Старуха моя рехнулась! — выпалилъ онъ ему, вбѣжавъ задыхаясь, — Богъ ее знаетъ, что съ нею случилось! Бѣги-ка, братъ, къ ней!...

Докторъ побѣжалъ стремглавъ и прямо влетѣлъ въ свѣтелку. Карповна лихорадочно сует-

тилась по свѣтелеѣ, полной еще ладоннаго дыма и, шепча молитвы, быстро наводила свѣчной копотью большіе черные кресты на бѣлыхъ стѣнахъ, потолокѣ, косякахъ, вездѣ, куда только доставала рукой.

— Что ты, Карповна?! Что дѣлаешь?!

Та быстро остановилась, испугавшись его оклика, и повернулась въ нему.

— Это ты, баринь?!—узнала она, наконецъ, доктора, всмотрѣвшись. — Для души Филиппыча стараюсь! Жалко мнѣ его сердешнаго. Одолѣлъ его окаянный... Для души его...

— Да съ нимъ-то что-жъ по-твоему?

— Съ нечистымъ, слышь, спознался,— вотъ, не сойди я, съ имъ! Въ услуженіи у него, въ послушникахъ,—а мнѣ его, слышь, жалко! Жалко, слышь, полюбился онъ мнѣ, прости Господи! — и старуха принялась рыдать.

— Все, слышь, спалить надо! — говорила она всхлипывая, полная навѣяннаго ужасомъ ожесточенія,—весь грѣхъ спалить... Все!

И быстро схвативъ дрожащими руками его записки, вычисленія, объемистый трактатъ,— все надъ чѣмъ бѣднякъ корпѣлъ такъ долго, на что возлагалъ такія надежды, чѣмъ жилъ изо-дня въ день, — вся обливаясь горячими

слезами, она навѣки похоронила въ багровомъ племени ярко пылавшей печи.

Кузнечиковъ осунулся и даже позеленѣлъ отъ горя. Онъ увѣрялъ, что самый злѣйшій врагъ по самой лютой злобѣ едва ли рѣшился бы на то, что было сдѣлано ему доброй Карповной изъ любви и желанія добра. Съ этихъ-то поръ, можетъ быть, онъ и началъ относиться септически къ этимъ, въ сущности высокимъ, чувствамъ. По крайней мѣрѣ онъ всегда восклицалъ съ жаромъ:

— Любовь!! Желаніе добра!! Такъ-то оно такъ, чувства высокія, положимъ, но ихъ однихъ мало-съ! Нужно, судари мои, еще и умѣть любить и творить добро! А это штука не легкая-съ! Не всякому дается! Да! Тутъ, батюшки мои, и головой поработать нужно! Бываютъ-съ и такія положенія, что невольно завопишь: не любите меня, сердешные, и добра вашего не нужно!

И очень сердился, когда Кожинъ, шутя, звалъ его „чертовымъ монахомъ“.

ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ.

Увы, я проснулся!...

Опухшими от долгаго сна глазами,—чувствуя только тупую тяжесть въ головѣ, ничего еще не понимая и не сознавая,—я вглядываюсь въ полумракъ крохотной, почернѣвшей отъ времени горенки и протяжно и долго зѣваю. Въ горенкѣ полусвѣтъ, ибо сквозь щели и дыры въ стѣнахъ и плотно прикрытыхъ ставняхъ врываются лучи яркаго лѣтняго солнца и бѣгаютъ по потолку и полу неутомными зайчиками. Со двора доносится голосъ „жизни“:—чириканье влюбленныхъ воробьевъ, амурное кудахтанье куръ и чья-то невозможная пьяная ругань.

До всего этого мнѣ нѣтъ ни малѣйшаго дѣла. Я хочу, я долженъ спать, — спать и только спать; бодрствуя, сойденъ съума отъ тоски, отъ бездѣлья... Сонъ—это спасеніе... Ничего не чувствуешь, не сознаешь, ничего не хочешь, и ѣсть не надо,—а это тоже не мало значить; да къ тому-же

..... спятъ

Золотыя грезы,

Какъ роса на солнцѣ,

Высыхаютъ слезы.

Я закрываю глаза, зарываюсь въ подушку, закрываю ухо локтемъ и сплю.... Нѣтъ, я дѣлаю усилія, я стараюсь заснуть.

О, ужасъ, сна нѣтъ!

Да, нѣтъ его! Я спалъ долго, безконечно долго, какъ не спитъ самый усталый человѣкъ. И сну есть видно мѣра.

Но я не хочу сдаваться сразу, позорно, безъ боя... Я напрягаю всѣ свои силы, чтобы заснуть, чтобы заставить себя заснуть. Съ цѣлью убить мысль, сознаніе, я начинаю бессмысленно считать про себя цифры разъ, два, три,... десять,... сто,... пятьсотъ,... шестьсотъ,... шестьсотъ шестьдесятъ шесть...

— Апокалипсисъ... „Число звѣрино“... Наполеонъ I, проносится при послѣдней цифрѣ въ просыпающейся головѣ.

О, проклятой мозгъ, проклятое сознаніе, и ты, ассоціація идей! Какъ-бы избавиться отъ нихъ, отъ этихъ непрощенныхъ, незваныхъ гостей! Морфія-бы принять...

— Но гдѣ-же его взять! проносится въ головѣ.

Впрочемъ, что-же это? Я начинаю думать, — значить „жить“! Еще Декартъ сказаль... Чортъ знаетъ что... и этотъ Декартъ въ голову лѣзетъ! Спать!

Я прибѣгаю къ „воображенію“. Крайнее и однообразное напряженіе утомляютъ мозгъ, а

утомленіе ведетъ ко сну... Лучше всего вообразить, или заставить себя вообразить, представить,—длинную, длинную дорогу, съ безконечнымъ рядомъ телеграфныхъ столбовъ:... я знаю это по опыту...

Я воображаю длинную, длинную дорогу,—сѣрую и пыльную... рядъ телеграфныхъ столбовъ... безконечная даль... туманъ какой-то дальше... Я, кажется, засыпать начинаю...

Но что-же это такое вынырнуло вдругъ на дорогѣ?.. Это—тройка! Да, тройка... и сидитъ кто-то и машетъ назадъ рукой... Боже мой,—да вѣдь это я на тройкѣ... я самъ!.. Это я машу рукой, переѣзжая „границу“... и говорю: „прощай!“

— Фу, ты!—такъ не заснешь!

Лучше „вообразить“ море... сѣро-зеленныя волны, вѣчно ходячія, неугомонныя... вѣчно качающіяся... Онѣ убаюкаютъ меня, какъ ребенка колыбель... Вотъ онѣ ходятъ и качаются... Какъ мѣрно и плавно, какъ строго пластически... Вотъ валъ; наверху бѣлая пѣна... Вотъ чайка... Опять волны и волны... волна за волною... безконечныя, безконечныя волны...

Опять!.. опять что-то выдѣляется въ сѣромъ волнистомъ туманѣ.

Дымъ... свистъ .. это паракодъ! Вотъ зеленые берега... и опять я на паракодъ, и опять я машу рукою и говорю „прощай“...

А кто-то такъ горько, такъ горько плачетъ!

Эти воспоминанья не дадутъ спать! Нужно стараться „ничего не думать, не сознавать... лежать трупомъ“. Ба, идея! По индусски, какъ учатъ брамины: направить взоръ въ одну точку! Наверное набъжить сонъ...

Я направляю взоръ въ одну точку, упорно и долго смотрю въ уголокъ кровати, — но все уже напрасно... Я дѣлаю неимовѣрное напряженіе, — не думать; но разъ проснувшаяся мысль не засыпаетъ, не даетъ покоя. Голова по ассоціаціи идей наполняется всякой всячиной... Цѣлая вереница эпизодовъ, лицъ, историческихъ драмъ и житейскихъ дразгъ проходитъ безконечной напоромой въ воспоминанья... Вотъ Будда—этотъ доисторическій титанъ Азіи, этотъ другъ человечества, изрекшіи ему въ утѣшеніе: „твой удѣлъ страданье“... твое блаженство—въ „ничто“...

Неужели онъ правъ? А я, а мое состояніе?.. Но развѣ одинъ личный опытъ что нибудь значитъ?.. Я вспоминаю давнишній мой споръ съ Петромъ по этому поводу... Какъ онъ горячился, какъ онъ отстаивалъ свой „повисшій носъ“, свою „хандру“, свой искусствен-

но, жизнью созданный скептицизм! Онъ цитировалъ Шопенгауэра и восторгался Гартманомъ... А мнѣ жаль Шопенгауэра, — онъ честный и любящій человекъ, хотя и съ сильно повисшимъ носомъ! Какъ онъ долженъ былъ страдать! А впрочемъ, нѣтъ — онъ успокоился въ своемъ невѣрїи и скептицизмѣ; „все — предѣлъ, его-же не преидеши!“ Онъ вѣроятно и не ненавидѣлъ даже... Петра мнѣ больше жаль... Вѣдь это все накипѣвшая желчь говоритъ въ немъ... вѣдь это стонъ, а не убѣжденіе... это искусственное, наносное.

Растревоженная мысль окончательно просыпается... Я уже сознаю, и усилія мои побѣдить это сознаніе ослабѣваютъ... я теряю вѣру въ возможность заснуть вновь и чувствую это... Но что-же дѣлать? Господи-Боже, чѣмъ убить время, наполнить долгій, долгій день!.. Зайчики“: рабать въ глазахъ, врывающійся въ щели свѣтъ: невольно привлекаетъ мое вниманіе; со двора все неистовѣ несетъ тотъ-же голосъ „жизни“ и ухо невольно прислушивается къ нему. О проклятый свѣтъ... и зачѣмъ это ты врываешься ко мнѣ непрошенный, незванный и будишь меня... Хоть-бы минуту заснула эта „жизнь!“

Это — послѣднее проявленіе моихъ усилій. Я окончательно просыпаюсь!

— Что-же дѣлать?

Я методически, долго зѣваю и сто разъ задаю себѣ этотъ вопросъ. — Одѣться? Да, одѣться, а затѣмъ? Затѣмъ—ѣсть! подсказываетъ желудокъ... ѣсть—значить сходить къ Анисьѣ... Ладно, а затѣмъ? Затѣмъ?

Этотъ вопросъ я задаю себѣ уже сидя въ постели, свѣсивъ голову и глубоко задумавшись. Въ самомъ дѣлѣ, что-же затѣмъ? Какъ-бы подавленный этимъ неотвязнымъ, безысходнымъ вопросомъ, я точно въ изнеможеніи опускаюсь снова въ постель... Какъ ни напряжена мысль,—придумать я ничего не могу... Сходить къ тоскующимъ сосѣдямъ—тоска; читать сто разъ перечитанныя книги—тоска; дразнить „жучку“ — надоѣло, да она вѣрно убѣжала въ поле со скотомъ... Поводилась теперь бѣгать! Вотъ не сходить-ли къ Матренѣ узнать, не отелилась-ли „буренушка?“ радуюсь я вдругъ представившемуся полю дѣятельности; и въ самомъ дѣлѣ сходить,—а затѣмъ?

Снова не знаю я, что отвѣтить, и снова думаю и ничего не придумываю. Долго длится такое придумываніе, тяжелое и обидное до отчаянія. Спорить съ Петромъ о Гартманѣ, что-ли? Да, но вѣдь все это уже надоѣло и переспорено!

— О, Шекспиръ! Что, еслибъ твой Ричардъ, отдававшій полъ-царства за коня, былъ

въ моемъ положеніи? Ты-бъ навѣрное заставилъ его предложить „все“ за одинъ часъ осмысленной трудовой жизни!

Я начинаю одѣваться, медленно, методически, стараясь какъ можно дольше продлить время туалета; — все-же занятіе. Перебираю я свои лохмотья, которые ношу изъ приличія, по традиціи.... Нельзя-же совсѣмъ нагимъ являться на улицу!

Проснувшійся аппетитъ начинается мало-помалу вытѣснять изъ головы всякія другія помысленія и желанія.

— „Бсть!“ шевелится въ головѣ... „Бсть!“ щемитъ въ желудкѣ... „Бсть!“ настоятельно требуетъ весь организмъ.

Я одѣваюсь быстрее и начинаю припоминать, когда это я ѣлъ въ послѣдній разъ. Это было вчера, ровно въ два часа дня, во время самаго страшнаго солнцепека... Мы купили у Анисьи десять луковицъ, десять огурцовъ, крынку молока, — Господи, какъ все это вкусно! — три фунта хлѣба и мигомъ уничтожили... Да, мигомъ, — я даже оглянуться не успѣлъ, какъ не осталось ни крошки... Помню, помню!.. Да, еще Анисья хотѣла содрать лишнюю копѣйку, — проклятая баба, — божились, что овощи и молоко вздорожали. О, хитрая, — даромъ, что кривая на одинъ глазъ! Затѣмъ мы съ Петромъ улеглись, погрузи-

лись въ Нирвану, въ культъ Буддѣ вплоть до... до... до восьми вечера... да, до вечера. Затѣмъ проснулись... онъ ушелъ... а я?... я продолжалъ поклоняться Буддѣ до...?

Съ этимъ вопросомъ я отрываю окно и съ нимъ ставень — и яркій, ослѣпительный день волной, неудержимой массой врывается въ горенку, на мигъ совершенно ослѣпляя меня. Я щурю глаза, жадно глотаю свѣжій, лѣтній воздухъ и, „приспособивъ, наконецъ, зрачекъ“, — какъ выражается учебникъ физики, — различаю на заваленкѣ старуху тетку Варначку. Изъ дня въ день сидитъ тетка Варначка на своей заваленкѣ, спасаясь отъ тоски уличными происшествіями.

— Тетка... а тетка! — который часъ?

Старуха, тоже прищурившись, поворачиваетъ ко мнѣ свое доброе, многострадальное, все въ глубокихъ морщинахъ лицо и медленно и какъ-бы съ сожалѣніемъ спрашиваетъ:

— Аль проснулся, соколь мой?

— Проснулся, тетка... вынелъ такой грѣхъ! который часъ?

— А кто его мѣрялъ?... Много, поди... къ полдню близко!

И въ самомъ дѣлѣ близко. Сколько-же это я спалъ?

Много, много... теперь ѣсть нужно!.. И я торопливо застегиваю оставшіяся еще въ

видѣ традиціи пуговицы на нѣкогда европейскомъ, а теперь и чортъ не разберетъ какомъ костюмѣ.

— Рыжій-то сапоги пропильт! — продолжаетъ старуха, обрадованная „живой дунгѣ“, собесѣднику, стараясь какъ можно скорѣе подѣлиться своими впечатлѣніями, всѣмъ „видѣннымъ и слышаннымъ“.

— О! возражаю я, занятый приведеніемъ въ порядокъ своего внѣшняго образа.

— У Федосы свинья опоросилась!

— А!

— Андрей съ Зеленой улицы опять жену избилъ!

Я очень радъ, что могу ограничиться одними междометіями и восклицаніями, — ибо старухѣ собственно и не нужны мои отвѣты. Она просто чувствуетъ что-то въ родѣ органической потребности подѣлиться съ человѣкомъ и только... даже не потребности, а обязанности... Почти молча выслушиваю я длинную хронику о „пропитомѣ“, „сѣденномъ“, „побитомъ“, „увраденномъ“ и перестаю наконецъ отзываться даже восклицаніями, что нимало не смущаетъ тетку Варначку, обязательно продолжающую посвящать меня въ тайны „жизни“.

Но я думаю уже о другомъ, болѣе важномъ и существенномъ, чѣмъ хроника утра, —

покрайней мѣрѣ для меня лично, — я бесѣдную съ своимъ карманомъ.

Всего одиннадцать копѣекъ! Третьяго дня, когда я продалъ свою зимнюю шапку, было ровно тридцать... вчера уже двадцать двѣ... а сегодня одиннадцать. Плохо! Какъ-же быть завтра?.. Ну, да не бѣда, — проживемъ какъ-нибудь!

Что-же ѣсть? Три копѣйки — хлѣбъ. О, нельзя-ли хоть четыре? — вопиится гдѣ то глухо, — но дѣйствительность сурово возражаетъ — „нѣтъ“. Ну, ладно, — три копѣйки хлѣбъ! Луѣ и огурцы?.. Ну, — хоть... Больше копѣйки — никакъ нельзя... Никакъ нельзя, — потому завтра тоже ѣсть надо!.. Значить, — четыре... да три копѣйки молоко. — А марка! Господи, — почтовая марка!..

Я стою растерянный, точно подавленный тяжелымъ, до боли грустнымъ чувствомъ... О, какъ давно писалъ я уже ей, — моей дорогой, моей хорошей старухѣ-матери... Какъ давно уже ждетъ она не дожидется вѣсточки, строчки, одной строчки того, кто для нея дороже жизни, чище слезы, прекраснѣе луча солнечнаго... Бѣдная, бѣдная!.. Какъ давно уже дрожала рука твоя, распечатывая конвертъ, — туманились слезами глаза, когда ты, рыдая, глотала дорогія строчки!.. Мать, — я

напишу тебѣ... сегодня-же!.. Дорогая моя!..
Къ чорту молоко!..

У кривой Анисьи покупаю хлѣба и луку—
всего на четыре копѣйки... семь идетъ на
марку. Сегодня Анисья, — странное дѣло,—
ни слова о вздорожаньи, —напротивъ,—при-
несла цѣлой луковицей больше... Нѣтъ, не
одной!.. двумя... тремя... Господи,—пятью
громадными луковицами больше... Что это
значить? И огурцы... пять громадныхъ, зе-
леныхъ, еще влажныхъ огурцовъ?! Анисья,—
зачѣмъ? Вѣдь у меня нѣтъ денегъ. У меня
только четыре копѣйки, всего-на-всего! Но она
настойчиво суеть мнѣ ихъ въ руки и при
этомъ чего-то жметса, конфузится, — точно
просить собирается... Чего тебѣ, Анисья? Что
это значить? А! — Написать письмо сыну...
сыну, который лежитъ за тридевять земель
въ какомъ-то госпиталѣ... Я напишу та в ъ,
Анисья... такъ... безъ платы! Но Анисья и
слушать не хочетъ и все суеть да суеть за-
манчиво соблазнительные огурцы да луковицы.
Вотъ,—а еще сегодня я обвинялъ ее въ хит-
рости и алчности! Какая тутъ хитрость да
алчность?... Сама суеть въ руки!.. просто
„пить-ѣсть надо“, а не алчность! Вѣдь и я
тоже... Мнѣ совѣстно брать у Анисьи эти

огурцы и луковицы за письмо... а беру... беру вотъ! Потому что тоже „пить-ѣсть надо“, жить надо! Анисья не понимаетъ, что мнѣ тяжело брать ихъ, и потому суетъ ихъ такъ безцеремонно... Да, именно мнѣ тяжело, и я никогда не скажу, что эти лишніе огурцы— законный, естественный налогъ на Анисьину безграмотность. Нѣтъ, никогда не скажу.

Добрый часъ пишу я это письмо... все почти одни поклоны да поклоны: отъ тети, дяди, отъ сватьевъ и зятьевъ и проч., да кой-гдѣ, въ видѣ вставокъ, короткія извѣстія: что тотъ-де погорѣлъ, у того корова пала, тамъ коня украли и проч. Въ промежуткахъ между этими поклонами и извѣстіями Анисья заливается горячими слезами и несчетное число разъ сморкается въ фартукъ,—а на это уходитъ не мало времени. Но я терпѣливо выжидаю конца подобныхъ антрактовъ съ перомъ въ рукѣ. Пусть ее поплачетъ и посморкается,— не всегда ей выдается это счастье и возможность... За вѣковѣчной работой не до слезъ! Вышалъ досугъ побесѣдовать съ сыномъ,—ну, и слезамъ время!.. Какъ не заплакать?

Но вотъ письмо кончено и я сажусь на завалинкѣ глотать эти чудные огурцы, великолѣпный лукъ и заѣдать всю эту роскошь превкуснымъ хлѣбомъ... Вотъ и соль, и вода въ разбитой, но пригодной къ употребленію,

кружкѣ... Что-же это, — Ганька опять здѣсь? Какъ онъ знаетъ, проклятый, время моего обѣда: чутьемъ, что-ли? Тутъ, какъ тутъ — и какъ лукаво, умильно смотритъ на всю мою прелестную закуску!.. Ну, на... на... Аллахъ съ тобой, — садись и ѣшь! — И Ганька, бѣлобрысый мальчуганъ, въ одной изодранной рубашонкѣ, курносый, съ цѣлой копной волосъ на головѣ, садится и мигомъ вмѣстѣ со мною уничтожаетъ все до крошки...

Я поднимаюсь и иду къ Петру.

Жаръ все усиливается... Эта жара короткаго сѣвернаго лѣта, просто невыносима, — духота какъ въ жарко натопленной банѣ... Въ горячемъ парномъ воздухѣ ни малѣйшаго движенія, ни струйки вѣтерка. Каждый шагъ подымаетъ густое какъ ночь облако пыли, которая долго не улегается и долго виситъ въ воздухѣ чернымъ облакомъ. Мое шествіе къ Петру точно ураганъ наполняетъ всю улицу тучей пыли. Пыль душитъ въ горлѣ, слѣпитъ глаза, щекочетъ въ носу, облѣпляетъ платье, сбѣгаетъ съ потнаго лица ручьями черной грязи. Двигаюсь я одинъ... окрестъ точно вымерло. Нигдѣ ни лица, ни голоса — только свинья хрюкаетъ въ лужѣ и этимъ хрюканьемъ свидѣтельствуетъ о жизни... Спать куры въ тѣни, спать даже собаки,

забывъ свою классическую роль охранителей и безъ дая пропуская мимо новаго челевѣка. Жара на все нагнала лѣнь и дремоту, а мирныхъ, незнающихъ куда дѣвать длинные сутки обывателей, угнала до вечера въ погреба, сѣни, сѣнники и прочія мѣста прохлады. Не спятъ только комары да аводы, — эти поистинѣ страшные бичи сѣвернаго лѣта... Облака ихъ обволакиваютъ меня вмѣстѣ съ пылью, но я какъ опытный челевѣкъ уже, не отмахиваюсь отъ нихъ, а невозмутимо предоставляю всѣ открытыя части тѣла въ ихъ полное распоряженіе. Я вѣрю, что они „планида“, и знаю, что борьба съ нею — немыслима.

Но вотъ и Петръ. — Счастливецъ, — онъ спитъ! — у него еще заперты ставни.

— Спишь!? кричу я что есть мочи изъ зависти, чтобы разбудить его.

Отвѣта нѣтъ.

— Спишь, Петръ? окликаю я еще громче и стучу въ ставень.

— Гм...м.... несется мнѣ въ отвѣтъ, какъ-то глухо, — это ты?

— Я. Спишь?

— Н...н...нѣтъ, не могу!

— Не можешь?

— Дѣлаю усилія... не беретъ! И что-то въ родѣ „чортъ побери“ или и того похуже, вмѣстѣ съ самымъ краснорѣчивымъ зѣвкомъ, доносится до моего слуха.

— Такъ и я, братъ! Какъ ни напрягался, — ничего не подблать, — всталъ!

— Давно?

— Часа два.

— Несчастный! входи!

Я вхожу и долго ничего не могу разглядѣть въ темной горенкѣ. Парно, — какъ-то особенно душно, какъ въ жаркомъ, сыромъ подвалѣ. Петръ лежитъ на полу, — я растягиваюсь на скамьѣ, и, заражаясь зѣвками Петра, самъ зѣваю.

— Сколько проспалъ? доносится со стороны Петра.

— Часовъ шестнадцать!

— Важно! — и опять мы оба долго и протяжно зѣваемъ.

— Что-же дѣлать? нарушаетъ опять молчаніе Петръ.

Спорить...

— О чемъ-же, чортъ возьми, спорить?.. Все ужь, кажется...

Длинная пауза, прерываемая зѣвками.

— У меня во рту сухо, — возражаетъ Петръ.

Причина уважительная. Мы оба молчимъ. Петръ лѣниво начинаетъ оглядывать сапоги и прочія принадлежности туалета, какъ-бы рассчитывая, съ чего-бы начать... Онъ точно колеблется и точно застываетъ въ этомъ

колебанъ, какъ вдругъ въ дверь раздается стукъ... Разъ... два...

— Дома?..

Мы оба моментально вскакиваемъ, точно подъ дѣйствіемъ электрической машины... Петръ, какъ есть, бѣжитъ къ дверямъ отодвигать задвижку... Это — Оилимонъ. Авось какая-нибудь новость!

Оилимонъ — добродушный старикъ, стражъ мѣстнаго благочинія — со всѣми атрибутами своего величія и власти вваливается въ горенку и долго не можетъ разглядѣть, куда-бы присѣсть и кто на лицо.

— Н..н..ну, — спите! не-то уворизненно, не-то удивленно качаетъ онъ сѣдой головой.

Но мы не даемъ ему оканчивать сентенціи. На перебой забрасываемъ его вопросами: нѣтъ-ли писемъ, новостей или чего нибудь въ этомъ родѣ... На все старикъ только качаетъ отрицательно головой, а мы шлемъ ему тяжкіе укоры. — Онъ вотъ только газету несъ къ начальнику, — такъ по дорогѣ зашелъ, — не пожелаемъ ли де пробѣжать... поскорѣй только!

— Конечно, конечно! Спасибо! — Мигомъ распахивается окно, мигомъ вырывается изъ дюжихъ рукъ Оилимона № „Правительственнаго Вѣстника“, — на что онъ только добродушно улыбается, — и такъ-же мигомъ проглатывается, такъ что Оилимонъ едва-едва успѣлъ

закурить свою трубку. Проглатывается весь, цѣликомъ, съ заглавіемъ, съ подписной цѣной, съ телеграммами, съ хроникой урядниковъ, съ объявленіями и подписью редактора, — Все?. О, какъ скоро, — хоть-бы еще немножко!..

— Олимонъ, неужели нѣтъ писемъ? Ни одного письма?

Олимонъ отрицательно качаетъ головой и улыбается... Мнѣ какъ-то чувствуется, что онъ обманываетъ.

— Петръ, кричу я, есть письма! Давай, Олимонъ!

И мы разомъ какъ-то набрасываемся на старика и начинаемъ тормозить его во всѣ стороны. Давай, давай!.. Олимонъ только улыбается и слабо сопротивляется. Но вдругъ могучимъ движеніемъ плечъ онъ ловко вырывается на середину горенки и съ торжествующимъ хохотомъ вынимаетъ письмо.

— Ко мнѣ, ко мнѣ! — И оно уже у меня!

— „Дружище, — громко читаю я, пока Петръ глотаетъ строки чрезъ мое плечо — Уале... и ради самой дружбы научи, наставь, какъ спастись отъ тоски, отъ уподобленія себя Навуходносору, въ травоядное превратившемуся. Я гибну, сохну, вяну, схожу съ ума отъ тоски, отъ бездѣлья, отъ невозможности хотя чѣмъ-нибудь убить сутки. Работы нѣтъ и нельзя имѣть, — ничего нѣтъ! Какъ спасаешься самъ, научи! Твой С—въ“.

— Петръ, — тихимъ, больнымъ голосомъ спрашиваю я, — Петръ... чѣмъ же спастись?

Но Петръ вмѣсто отвѣта поворачиваетъ ко-
мнѣ свои большіе, вытаращенные въ недо-
умѣніи глаза.

Жаръ сталъ спадать... Уже не жарко,—а
только какъ-то душно. Въ воздухѣ та же пыль
и тишь, но не тотъ ослѣпительный, рѣжущій
блескъ полудня... Какъ-то мягче, розовѣе
свѣтитъ солнце, клонящееся долу... Скоро
вечеръ, мягкій, теплый вечеръ, — а мы все
сидимъ съ Петромъ, — какъ сѣли съ утра,
прочитавъ письмо, по угламъ, — сидимъ и
гложемъ собственныя души. Сидимъ и не
шелохнемся! Зачѣмъ? Чего? Апатія, тоска,
какая-то нравственная дремота,—не то дряб-
лость, но то одурѣлость, вызванныя безвыход-
ностью, охватили и мозгъ, и душу, и сердце.
Такъ бы до послѣдняго вздоха, до послѣдней
минуты не двигался, не шевелилъ бы пальцемъ,
кажется! О, нѣтъ,—это такъ только кажется, —
только снаружи, такъ сказать. Тамъ гдѣ-то,
глубоко, глубоко, гдѣ не видно, не слышно, —
незамѣтно для глазъ кипитъ работа, горячая
работа! Да, — не замѣчая, не двигаясь, не
сознавая кажется,—мы гложемъ съ Петромъ
собственныя души, мучимся, терзаемся, гло-
таемъ незримыя, — но, Боже, какія горячія
слезы. Иначе, отъ чего же было бы намъ такъ
скверно, такъ душно, такъ гадко, такъ тяжело,

такъ странно тяжело? Да, работа кинить: мы живемъ, — иначе и быть не можетъ. Но насколько мрачна сама жизнь, мрачна и функция ея — наша незамѣтная внутренняя работа.

Мы молчимъ, не двигаемся, но цѣлый рядъ представлений, бессознательно вызванныхъ, тѣснится гдѣ-то глубоко и панорамой типется предъ нашими духовными глазами.

Мы молчимъ, не двигаемся, не говоримъ, не глядимъ другъ на друга... Зачѣмъ! — мы чувствуемъ оба одно и то же, переживаемъ все душа въ душу. И мы хорошо это знаемъ... Не только слова, — не нужны намъ и взгляды... Я насквозь вижу, чувствую, такъ сказать Петра, какъ и онъ меня. О, я отлично знаю, что теперь ему видится такое мягкое и прохладное, рѣчное дно, такое тихое и задумчивое, такое нѣжное. Какъ тамъ покойно, — какъ чудно баюбаютъ волны!.. Пустяки, что раки вопьются, — не почувствуешь!... Или „мать сыра-земля“? Тамъ тоже такъ покойно и тихо, и безстрастно, и жары этой проклятой нѣтъ... Стоить только... Я отлично знаю это, и потому понимаю, почему вдругъ Петръ ворчитъ: глупо!

— Да, Петръ, да, глупо! подтверждаю я.

Петръ блѣднѣетъ и медленно поворачиваетъ ко мнѣ свое лицо. Губы у него дрожатъ.

— Что же? какъ-то злобно шипитъ онъ, — аль по пословицѣ: — „терпи казакъ, атаманомъ будешь“!?

Но прежде чѣмъ я успѣваю возразить ему, неистовый, дюжій басъ какъ громъ раздается подъ окномъ и прерываетъ болѣзненный споръ.

— Дома, вольтерьянцы, масоны?

— Дома, дома! кричимъ мы съ Петромъ и бѣжимъ къ окну.

Фантастически одѣтая фигура штабсъ-капитана, давнымъ давно поселившася въ нашемъ городѣ вслѣдъ за какою-то вольностью, выкинутой въ полку, заслоняетъ собою окно въ тотъ же моментъ.

— Дома! Что новаго?

— Новаго?

Добродушное лицо штабсъ-капитана смѣется... Смѣется давно небритый подбородокъ, смѣются еле-видныя изъ подъ длинныхъ рыжихъ усовъ губы, смѣются эти самые рыжіе усы, смѣется синебагровый носъ — о, какой синій! — и добродушнѣйшіе сѣрые глаза.

— Новаго? Есть! торжественно возглашаетъ онъ.

— О!?! — Мы дрожимъ съ Петромъ. — Ну-же, рыцарь, герой, Ахиллесъ непобѣдимый!

Еще мягче смѣется доброе лицо... Съ невыразимую любовью перебѣгаютъ сѣрые глазки съ меня на Петра и обратно... Длинная рука

лѣзетъ куда-то въ лохмотья и въ окнѣ торжественно появляется бутылка.

— Стотррравная!

— Только? — восклицаемъ мы, повѣсивъ носы.— О, герой, о, „bass prof pro“!.. Вѣдь это не по нашей части! Вѣдь знаете-же!..

— Стотр-р-равная! внушительно, строго возглашаетъ ея обладатель.

— Да, ну, ее къ дьяволу, вашу стотравную...

Улыбка исчезаетъ; доброе лицо хмурится, носъ похожъ на темную свинцовую тучу...

— Вы русский?— Порывистый басъ при этомъ вопросѣ становится какимъ-то ехидно-бархатнымъ, мягкимъ.

— Еще-бы.

— Пейте!

— Но почему-же?

— Почему? П-пейте!

— Вотъ логика! ворчитъ Петръ. — Ну, представьте, что мы французы...

Добродушное, нахмуренное лицо моментально измѣняется... Сѣрые глазки глядятъ такъ ядовито-насмѣшливо, блещутъ такимъ неподдѣльнымъ смѣхомъ, что мы съ Петромъ поневолѣ улыбаемся.

Го-го-го-го!.. заливается басъ, — го-го-го!.. Французы!!... Французъ и безъ вина живъ-съ!..

Опять добродушно смѣются сѣрые глазки, съ усами, носомъ и прочимъ, и „стотравная“ обязательно опять протягивается намъ, но мы стоически отталкиваемъ ее.

Этого штабсъ-капитанъ переварить не можетъ... Лицо его хмурится до того, что походить на злое.

— И-нейте, а не то загрызете себя! ворчать длинные рыжіе усы.

— Вотъ еще! Вздоръ, рыцарь.

— Не вздоръ-съ! Вы русскіе-съ!

— Ну, такъ что-же? смѣемся мы.

— Ну, такъ что-же? ехидно переспрашиваетъ воинъ, — а отчего, напригбръ, господа ученые, русскій человѣкъ въ Мекку не ходитъ?

— Въ Мекку?.. недоумѣваемъ мы.

— Н-да-съ! въ Мекку!.. Почему, напригбръ, магометкѣ не поклоняется?

— Почему?

И прежде, чѣмъ мы успѣваемъ что-нибудь сказать, штабсъ-капитанъ съ дюжимъ, неистовымъ хохотомъ возглашаетъ:

— Руси-бо есть веселіе пити!

— Ладно, рыцарь, кабалеро сибирскій!... хохочемъ мы этому аргументу въ пользу „шкалика“, — скажи лучше, что дѣлать?

Сѣрые глазки на минуту закрываются и только рыжіе усы шевелятся, выдавая трудную внутреннюю работу.

— Да вотъ-съ, рыбу удить...

— Удочекъ нѣтъ...

— Тѣфу ты, оборвали, значить! Ну, раковъ...

— И то правда, кричимъ мы, — давай ловить раковъ.

Около часа мы въ водѣ уже всѣ трое, по горло... Ощупываемъ ногами дно, отыскиваемъ рака, нагибаемся, хватаемъ руками и швыряемъ его далеко на берегъ... Капитанъ конечно впереди — гдѣ намъ угнаться за нимъ! У него то и дѣло свистятъ раки въ воздухѣ, грузно шлепаясь на берегъ. И, Боже, какъ онъ неистово хохочетъ надъ нами, надъ нашею неумѣлостью, приписывая ее, конечно, „университетскимъ теоріямъ“! И мы хохочемъ съ нимъ, хохочемъ надъ собой, — да, надъ собой! Правда, правда, рыцарь, мы мало чего знаемъ жизненнаго, обыденнаго, — мы знаемъ много теорій, много гипотезъ, — не умѣемъ поймать рака, — ты лучше насъ ловишь... Но и только!.. И только, рыцарь! Ты еще меньше насъ и хуже насъ знаешь эту самую „жисть“, какъ она есть, — гораздо хуже, несмотря на свое умѣнье всяческой „лови“!

Мы грѣмся у костра и варимъ раковъ... Капитанъ добылъ гдѣ-то полуразбитый гор-

шокъ и соли... Что за прелесть этотъ ужинъ на свѣжемъ воздухѣ! О, это вздоръ, что нѣтъ хлѣба, — и такъ хорошо. Да и гдѣ его достанешь? Есть? — говоришь ты. И вправду есть, Федорка — нищій тащится... у него навѣрное есть хлѣбъ, — а у насъ раки. Садись-же, Федорка, грѣйся и ѣшь раки и дѣлись съ нами! — Мирское, говоришь ты, — „общее“, — ну, ладно, ладно, знаемъ, — садись!

Федорка садится, тяжело вздыхая, Съдая, сухая голова бессильно свѣшивается на грудь, черную какъ кормилица-земля, съ блестящимъ мѣднымъ крестомъ среди ручьевъ пыльнаго, чернаго пота. Петръ осматриваетъ его больную ногу и по всѣмъ правиламъ науки дѣлаетъ тщательную перевязку изъ старыхъ, запыленныхъ лоскутовъ и лохмотьевъ. Федорка вздыхаетъ долго и протяжно и спрашиваетъ Петра: долго-ли ему жить осталось?

— Протянешь еще! говоритъ Петръ.

— Скорѣе-бы дотянуть! шамкаетъ старикъ, жуя кусокъ чернаго хлѣба.

Штабсъ-капитанъ насупился и уныло смотритъ въ огонь... Что мерещится ему тамъ, въ огнѣ, въ этихъ красныхъ языкахъ и клубкахъ дыма? Не напомнила-ли ему чего-нибудь далекаго вся наша обстановка?.. Бивакъ — ли давнишній на носу у зоркаго непріятеля? Какъ-нибудь случай изъ прежней жизни, —

которому нѣтъ забвенія даже въ глоткахъ „стотравной“! Все грознѣе становится лица, все ближе и ближе сдвигаются брови. И Феодорка, жуя, уставился въ огонь и смотреть неподвижно въ одну точку, — точно идолъ индусскій! Что онъ видитъ? Тысячи копень и сноповъ, что положили нѣкогда эти нынѣ безсильныя, худыя какъ цепки руки?

И Петръ насутился... и во мнѣ будить этотъ ужинъ на вольномъ воздухѣ, этотъ костеръ у рѣки, — полузабытое, полусаснувшее. Далекое встаетъ предъ глазами, цѣпь виднѣй тянется въ головѣ, и, какъ живые, встаютъ дорогіе образы. Сердце начинаетъ биться сильнѣе, грудь дышетъ порывисто... Это не дымъ, нѣтъ, это маленькая уютная комната... Темно; только каминъ теплится, слабо освѣщая передній уголъ и отражаясь яркой струйкой на образъ Того, Кто впервые научилъ насъ любить ближнихъ своихъ. Кто-то дрожа и рыдая подымаетъ къ образу руки: „О, зачѣмъ ему дана такая доля?“ Руки протянуты, голосъ дрожить отъ мѹи и сильныхъ рыданій. Но вотъ она подымается во весь ростъ и твердо говоритъ; — „нѣтъ, нѣтъ, да будетъ воля твоя!“

Мать! Добрая хорошая мать!

Луна свѣтитъ такъ ярко, что я могу писать у окна въ своей горенкѣ... О, какъ тя-

жело! какъ странно тяжело! Неужели пить? Или... Нѣтъ! пока есть силы, — нѣтъ! Только, мать, — поддержи меня своей любовью, своимъ теплымъ словомъ, а то я слабѣю, я падаю. Я все напишу тебѣ, все! Раскрою душу, покажу свое сердце, — ничего не спрячу, даже слезъ не спрячу, — поддержи только...

„Мать“ — пишу я... Но вдругъ что-то тяжелое схватываетъ въ груди, сжимаетъ горло, подступаетъ къ глазамъ и на бумагу капаютъ горячія, горячія слезы...

НОВОЕ СРЕДСТВО.

(СТАРАЯ СКАЗКА).

Одному мирному и добродушному обывателю выпалъ недавно случай присутствовать на одномъ изъ модныхъ гипнотическихъ сеансовъ, гдѣ, въ числѣ другихъ, и его подвергли гипнозу. Все испытанное имъ и видѣнное тамъ, такъ сильно подѣйствовало на его мягкую, впечатлительную душу, что имъ овладѣли самое глубокое отчаяніе и страхъ за человѣка. Онъ, казалось, готовъ былъ потерять вѣру въ вѣ свободную волю, въ разумъ, въ грядущее... Сама жизнь казалась ему побѣжденной и древнія сказки о волшебникахъ, измѣнявшихъ по желанію тѣ или другіе ея законы, — какъ будто воскресали былью... Но добрый сосѣдъ скоро успокоилъ его, рассказавъ ему въ назиданіе эту старую сказку:

Ужасное волненіе охватило всѣхъ мирныхъ бюргеровъ добраго, стариннаго городка, какъ только пронесся слухъ о новомъ, странномъ, почти страшномъ открытіи.

Было открыто, говорили, вѣрное, могучее средство прекращать всякую жизнь организма, не доводя его до смерти, до тлѣнія. Нѣсколько капель новаго, только-что открытаго группою ученыхъ маговъ, наркотическаго яда приводили живой организмъ въ какое-то особенное, безпробудно-гипнотическое состояніе, громко названное ими „соннымъ благоденствіемъ“. Организмъ замиралъ, — замирали всѣ его отправления, всѣ функціи духовной жизни, все, все... Онъ навсегда терялъ волю, сознаніе, представленіе, — всѣ чувства и ощущенія безусловно умирали. Тѣло становилось холоднымъ, — но не разрушалось, не теряло никогда формы, эластичности, способности питанія и роста; и питаніе, и ростъ можно было поддерживать искусственно, помощью небольшого электрическаго прибора. Самаго незначительнаго давленія на электрическія пуговки было достаточно, чтобы заставить сонно-мертвый организмъ ѣсть, пить, двигаться, бѣгать, — дѣлать что угодно; онъ всему повиновался одинаково тупо и безпрекословно. Пока дѣйствовать токъ, въ немъ просыпались всѣ способности растительной жизни, причемъ имъ можно было управлять по произволу; съ прекращеніемъ тока, онъ становился опять мертвымъ и неподвижнымъ. Словомъ, говорили, — живой, организмъ превращался въ послушный,

покорный манекенъ, но манекенъ вѣчный, живой, нетлѣнный. Это было, конечно, великое открытіе. И жизнь, и смерть отступали равно побѣжденные!

Понятно, сначала этому не повѣрили.

Тѣмъ не менѣе это была правда, или почти правда. Надъ такимъ средствомъ давно работали нѣсколько послѣдователей и учениковъ знаменитаго Калиостро, производя безчисленные эксперименты и изысканія. То, что всѣ усилія древнихъ алхимиковъ въ этомъ направленіи терпѣли полнѣйшее *fiasco*, причемъ ихъ реторты и колбы лопались, часто съ опасностью для нихъ самихъ, ни мало не смущало нашихъ экспериментаторовъ. Справедливо или нѣтъ, но они полагали, что неудачи древнихъ, обусловленные можетъ быть младенческимъ состояніемъ бабалистической науки и плохими, несовершенными приборами, отнюдь не исключали возможности успѣха теперь. Хотя гипнотизмъ былъ еще совсѣмъ неизвѣстенъ и люди были, такимъ образомъ, лишены возможности счастливо забавляться, щекотать любопытство и пріятно убивать досугъ приведеніемъ друга друга тѣми или иными пассажами въ интересное состояніе соннаго идиотизма, — тѣмъ не менѣе, входившіе уже въ моду, месмеризмъ и столоверченіе открывали, казалось, кое какіе горизонты и окрыляли экспериментаторовъ надеж-

дой. Тихо, незамѣтно для свѣта, какъ кроты, они продолжали работать въ своихъ лабораторіяхъ.

И вдругъ пронесся слухъ, что такое великое средство ими дѣйствительно найдено. Вслѣдъ за этимъ, когда скептики все еще продолжали насмѣшливо кивать головами, — появились объявленія, назначавшія день испытанія. Ученые маги публично объявляли, что въ такой-то день и часъ соберутся для послѣдняго, окончателнаго опыта, результаты котораго будутъ подробно возвѣщены во всеобщее свѣденіе. Понятно, людьми овладѣла лихорадка нетерпѣнія. Какъ водится, одни ожидали со страхомъ и тревогой, возмущаясь открытіемъ, низводившимъ, казалось, божье созданье — человѣка, надѣленнаго и разумомъ, и свободной волей, съ его пьедестала; другіе же ликовали и потирали руки, сгорая любопытствомъ... Все было возбуждено до послѣдней степени.

Въ назначенный день, еще за долго до опредѣленнаго часа, всѣ экспериментаторы были уже въ сборѣ въ большомъ и свѣтломъ анатомическомъ залѣ. Всѣ они были взволнованы и, какъ и всѣ взволнованные люди, казались разсѣянными. Молча шагали они изъ угла въ уголь по большому залу нервной, лихорадочной походкой. Лица ихъ были блѣдны, брови сдвинуты, глаза горѣли. Минута приближалась

для нихъ и торжественная и страшная: они пришли поставить на карту все... и имя, и жизнь, и будущее... Въ случаѣ успѣха ихъ ждали и почетъ, и богатство, — въ случаѣ неудачи... то, что вообще ожидаетъ всѣхъ неудачниковъ. Было отчего блѣднѣть, отчего волноваться.

Испробовать дѣйствіе новооткрытаго яда на себѣ они, конечно не рѣшились... Для роковаго эксперимента была куплена ими за недорогую цѣну большая, но тощая, забитая, загнанная кляча. Привязанная къ столбу у входа въ анатомическій залъ, она беззвучно шевелила широкими, отвислыми губами, низко, понуро опустивъ голову и только изрѣдка хлопая ушами. По временамъ вся кожа ея, испещренная рубцами, вздрагивала по привычѣ или потому, что на нее налетали то хищный оводъ, то слѣпая муха. Очевидно, она была слаба на ноги, такъ какъ часто мѣняла ихъ, попеременно налегая то на правую, то на лѣвую.

Предчувствовала-ли она свою участь, боялась?.. Конечно, нѣтъ! Только тупая покорность, безучастность, смиреніе, какое то фаталистическое смиреніе, воспитанное цѣлой жизнью; сквозило во всей ея жалкой, вялой фигурѣ, свѣтилось въ робкомъ, но свѣтломъ взглядѣ. Къ тому же она такъ обтерпѣлась, такъ ко всему уже привыкла, что едвали

могла еще чего-нибудь бояться, чего-нибудь дрожать особенно. Чего бы она, въ самомъ дѣлѣ, могла бояться, за что дрожать? — За жизнь?—Но, вѣдь, жизнь ея была одна неустанная каторга отъ зари до зари. Боли, простаго ощущенія боли? — Но изъ подъ кнута она никогда не выходила. За будущее?—Его она не знала, —она всегда жила только настоящимъ... Возила... возила и возила...

Голодъ, холодъ, кнутъ, чрезмѣрная работа, гоньба, — вотъ и вся ея доля. Сначала она пахала землю, потомъ попала военному ремонтеру и на ней гарцевали солдаты. Изъ полка перешла къ почтосодержателю и на ней мчались курьеры, пока не отбили ей ноги, послѣ чего она перебивалась у многихъ хозяевъ, таскала воду и кирпичи, бревна, глину и т. д. на разныя постройки. И вездѣ кнутъ, кнутъ и кнутъ!..

Понуро стояла она у столба, не обращая ни малѣйшаго вниманія на упорные взгляды маговъ, которыми тѣ пронизывали ее время отъ времени черезъ окна. Безучастно ждала она знакомаго окрика, попуханья, удара, безъ которыхъ привыкла не двигаться съ мѣста, стоять покорно и смиренно. Это дѣлало ее просто владомъ для экспериментаторовъ. Но и съ другой стороны являлась она незамѣнимымъ экземпляромъ для даннаго опыта: орга-

низмъ ея не былъ настолько силенъ, энергиченъ, живучъ, чтобы сильно не поддаваться дѣйствию наркотическаго яда, и не былъ уже настолько слабъ, чтобы не выдержать его. Экспериментаторы, казалось, были вполне довольны ею и все нетерпѣливѣе, все лихорадочнѣе ждали условленнаго часа.

Онъ пришелъ наконецъ. Часы зашумѣли и прозвонили... Ждавшая на улицѣ громадная толпа заволновалась и вся, какъ одинъ человѣкъ, стала всматриваться въ темныя окна анатомическаго зала.

— Введите! — раздался многоголосый, нетерпѣливый окрикъ ученыхъ маговъ.

Конюха ввели лошадь въ залъ и быстро удалились, плотно закрывъ за собою двери. Несчастная кляча сначала какъ будто удивилась, увидавъ себя въ такой необычной обстановкѣ, замотала головой, замахала хвостомъ, сильнѣе захлопала ушами, но сейчасъ же успокоилась и приняла свою обычную, покорную позу. Она стала какъ вкопанная, по обыкновенію, опутивъ голову понуро и низко.

Маги столпились кругомъ. Ни одинъ не проронилъ ни слова, — всѣ были слишкомъ заняты разсматриваніемъ, послѣдней оцѣнкой живучести, силы, здоровья несчастной клячи. Лица были нахмурены, и какъ-то торжественно

важны; у болѣе нервныхъ подергивало углы губъ и вѣки глазъ.

— На мой взглядъ, опытъ съ ней долженъ увѣнчаться успѣхомъ; — сказать, наконецъ, одинъ изъ нихъ, сѣдой старикъ, знаменитый звѣздочетъ и алхимикъ, — конечно, при условіи энергіи, осторожности и крайней послѣдовательности съ нашей стороны... Какъ думаете, коллеги? — и старикъ обвелъ всѣхъ глазами.

Всѣ согласились, — всѣ вздохнули свободнѣе. Такое мнѣніе посѣдѣвшаго въ экспериментахъ алхимика придало всѣмъ бодрости и разсѣяло сомнѣнія младшихъ.

— Такъ что-же — начнемъ? — спросилъ онъ опять.

— Начнемъ! — былъ отвѣтъ. — Руководите опытомъ.

Старикъ съ важностью поклонился и подаль знакъ.

Изъ небольшого ящика бережно вынули флаконъ темнаго стекла и, откупоривъ, поднесли въ ноздрямъ смирно стоявшей лошади. Та сначала инстинктивно шарахнулась и замотала головой, но грозный окрикъ вернулъ ей прежнее смиреніе и безучастность. Неподвижно, покорно, все въ той же удрученной позѣ, она медленно вдыхала въ себя одуряющіе пары наркотическаго яда.

Экспериментаторы не сводили съ нея глазъ. Старикъ важно слѣдилъ за секундной стрѣлкой и тихо считалъ про себя: разъ, два, три...

Но мѣрѣ того, какъ лошадь вдыхала ядъ, съ тѣломъ ея начало становиться что-то дѣйствительно странное. Сначала застыли въ покоѣ уши, — но она все еще шевелила губами. Наконецъ, и губами она перестала двигать, только бока судорожно приподнимались при каждомъ вздохѣ, но и они остановились... Лошадь перестала дышать и стояла въ какомъ-то мертвенно-сонномъ оцѣпенѣннн. Она походила на вылитую изъ темной мѣди фигуру.

Одинъ экспериментаторъ увололъ ее толстой желѣзной иглой, — она не шевельнулась, другой ударилъ хлыстомъ, — она стояла такъ же неподвижно. Ей тронули открытый глазъ, — онъ не моргнулъ... Въ мордѣ поднесли зеркало, — она не дышала, на немъ не оказалось пятна. Приложили термометръ, — онъ показалъ температуру трупа.

— Будеть! — крикнулъ распорядитель.

Флаконъ съ ядомъ спрятали въ ящикъ.

— Давайте батарею... Сомкните цѣпь!

Цѣпь сомкнули. Распорядитель нажалъ пуговку аппарата и лошадь заржала, — другую — она заходила, — третью — она стала жевать поданный овесъ, — четвертую, пятую шестую... и она дѣлала все, что желали, и дѣлала какъ живая,

— Отнимите проводники!

Проводники отняли и несчастная кляча стала опять мертвой. Въ послѣдній разъ ее заставили лечь на спину и теперь она лежала на полу растянувшись, согнувъ въ колѣняхъ ноги, — бездыханная, неподвижная, холодная...

— Уррра!

Этотъ восторженный крикъ вырвался какъ-то самъ собою. Маги были внѣ себя. Все, что накипѣло, наболѣло, всѣ сомнѣнья, всѣ тревоги, всѣ опасенія, — все разлетѣлось. Торжество было полное, — оно само рвалось изъ груди, оно, казалось, подавляло. Они обнимались, поздравляли другъ друга, — по щекамъ текли слезы восторга. Сомнѣнія не было, — они побѣдили и жизнь, и смерть!.. Лошадь мертва, — но останется живою... Они изобрѣли новое состояніе: мертвую жизнь!

— Уррра!

Да, торжество было полное. Послѣ первыхъ взрывовъ восторга, всегда бурныхъ, наступило то блаженное состояніе, которое называется полнымъ счастьемъ и выражается обыкновенно тихой, безмятежной задумчивостью. Счастье тутъ точно подавляетъ, Экспериментаторы стояли неподвижно, молча, въ глубокомъ безмолвіи, какъ-то безцѣльно смотря впередъ... Можно было слышать біеніе ихъ пульса,

— Это вы?—спросилъ, вдругъ, распорядитель сосѣда.

— Что?—переспросилъ тотъ удивленный.

— Я слышу какой-то шорохъ, стукъ!..

— Нѣтъ! — отвѣтилъ сосѣдъ, — не я! — и оба оглянулись.

— Я слышу тоже!—вскрикнулъ еще кто-то.

— И я... и я!—подхватили остальные.

Всѣ начали тревожно вслушиваться. При воцарившейся безмольной тишинѣ дѣйствительно явственно слышался всѣми какой-то слабый, мѣрный стукъ.

— Это на улицѣ...—отозвался кто-то.

— Нѣтъ, — твердо отвѣтили нѣсколько голосовъ,—это здѣсь... въ залѣ!

— Не бьется-ли въ окнѣ муха?..

О, горе, стекла были чисты, ни одна муха не билась.

Лица ученыхъ маговъ вытянулись. На нихъ отпечатлѣлись и страхъ, и сомнѣнье, и тревога. Сильная радость, наступившая послѣ долгихъ тревогъ и колебаній, какъ извѣстно, всегда немного подозрительна.

— Что бы это было? — спрашивали они другъ друга.

А стукъ все продолжался, мѣрный, ровный, хотя и слабый стукъ.

— Да не наши ли это собственныя сердца?

Они стали вслушиваться, приложивъ руки къ груди. Ихъ сердца бились скорѣе, тревожнѣе... Съвозъ біеніе собственного сердца, каждому слышался явственно все тотъ же непонятный, таинственный, мѣрный и ровный стукъ.

— Гдѣ? Что?

Они совсѣмъ теряли головы.

Пока всѣ стояли въ недоумѣніи, какъ будто колеблясь, не рѣшаясь приступить къ изслѣдованію, распорядитель уже вынелъ изъ круга и направился прямо къ лежавшей неподвижно лошади. Онъ сталъ на колѣни и приложилъ свое ухо къ ея холодной груди. Нѣсколько мгновеній стоялъ онъ такъ неподвижно, вслушиваясь, и лицо его становилось все блѣднѣе и блѣднѣе. Глядя на него, блѣднѣли и остальные. Вдругъ, онъ поднялъ голову и рѣзко, твердо, съ какимъ-то невыразимымъ отчаяніемъ, почти крикнулъ:

— Сердце!

Да, билось сердце!

Это было ужасно. Если билось, если жило сердце,—то жизнь совсѣмъ не угасла,—она всегда еще могла вернуться! Смерти, абсолютной, вѣчной смерти не было, — жизнь, очевидно, продолжала тлѣть въ гипнотизированномъ организмѣ. Выходило, дѣйствительно; такъ, что лошадь была только гипнотизиро-

вана на время. Новое средство оказывалось не сильнѣе хлороформа.

Это въ самомъ дѣлѣ былъ ужасный ударъ для ученыхъ маговъ.

Рѣзкій переходъ отъ одного остраго ощущенія къ противоположному ему, какъ извѣстно, часто бываетъ даже смертеленъ. Несчастные окаменѣли на мѣстахъ, какъ неподвижно лежавшая предъ ними кляча. Они тоже, казалось, не дышали... Лица ихъ стали бѣлы, какъ стѣны зала, глаза потухли.

— Жить! жить! жить! — мѣрно доносился до ихъ слуха ровный, слабый стукъ. Они явственно слышали это проклятое „жить“!

Стучало сердце, — сомнѣнья не было.

Пропали ихъ труды, ихъ усилія, ихъ надежды! Они — неудачники, смѣшные неудачники и больше ничего! Жизнь осталась жизнью, — она не побѣждена! Ужасъ, гнѣвъ, отчаяніе въ перемежку овладѣвали несчастными. Этотъ стукъ непобѣжденной жизни все, казалось, росъ и росъ и отдавался какъ раскаты грома. Точно сотни пушекъ вокругъ ревели и грохотали имъ это проклятое: жить, жить, жить!

Текли минуты... Экспериментаторы все также стояли неподвижно, гнѣвные, полные отчаянія, почти злобы, а маленькое, непокорное

сердце все такъ же билось, все такъ же, казалось, шептало свое ужасное: жить!

Что было дѣлать?

Они ломали головы... Холодный потъ облилъ ихъ съ головы до ногъ... Что придумать? Гдѣ разгадка неудачи такого вѣрнаго и сильнаго средства? Неужели жизнь сильнѣе?

— Жить! жить! жить!—стучало, какъ-бы въ отвѣтъ, сердце.

Они бы его вырвали! О, конечно, они могли сразу остановить его, заставить замолкнуть на вѣки. Тутъ же, на столахъ, валялись сотни тонкихъ и длинныхъ, острыхъ, какъ бритвы, скальпелей и ланцетовъ, а шкафъ былъ полонъ самыми сильными, самыми убійственными ядами. Одинъ ударъ такимъ скальпелемъ, частица грана одного изъ этихъ ядовъ и оно-бы замолкло на вѣки! Но развѣ въ томъ былъ вопросъ, развѣ это разрѣшало ихъ недоумѣніе, поправляло ихъ неудачу, дѣлало ихъ средство дѣйствительнѣе? Убить могъ и мясникъ, и живодеръ,—убійство не входило въ ихъ расчеты. Нѣтъ, они добивались превратить живой организмъ въ мертвый, не отнимая жизни, не разрушая, не убивая,—оставивъ его живымъ, но мертвымъ. И вотъ ихъ усилія пропали даромъ! Неужели?

— Жить! жить! жить!—какъ бы подтверждало неугомонное сердце.

Что́ было дѣлать, что́ предпринять? Они такъ вѣрили, такъ слѣпо, такъ страстно вѣрили въ могучее дѣйствіе открытаго средства... Множество гипотезъ, теорій, формуль, рецептовъ промелькнули въ умахъ, множество кропотливыхъ, бессонныхъ ночей, въ которыя они тихо незамѣтно для людей работали надъ своимъ средствомъ, — пронеслись, какъ видѣнья. Даромъ, все задаромъ! Ихъ трудъ, ихъ бессонныя ночи, ихъ тайная работа, — все, казалось, пропало.

Нѣтъ, не пропало!.. Старикъ-распорядитель, казалось, нашель выходъ... Онъ быстро очнулся, поднялъ голову, глаза его опять горѣли. Всѣ обернулись къ нему, всѣ съ трепетомъ ждали его слова.

— Нашель, — началъ онъ задыхаясь отъ волненья, — нашель.

— Что́, что́, что́? — бросились къ нему товарищи.

— Нашель источникъ этой загадочной живучести сердца... Эта живучесть, это біеніе — одинъ рефлексъ, — продолжалъ онъ, — несомнѣнно сердце бьется рефлекторно... Свѣтъ, животворный свѣтъ поддерживаетъ этотъ рефлексъ. Химико-физиологическое дѣйствіе свѣтовыхъ лучей сообщаетъ мертвому сердцу импульсъ и силу, Отнимемъ свѣтъ — и сердце станетъ!

Всѣ оживились, всѣ жали ему руки... Онъ спаситель! Онъ вѣрно угадалъ все! Долой свѣтъ! Загадка разрѣшена, — всему причиной онъ — свѣтъ! не даромъ его считаютъ источникомъ жизни... Долой — и руки протянулись къ ставнямъ и сторамъ.

Но легче было дать совѣтъ, чѣмъ его исполнить. Имъ самимъ, для опыта, наблюдений, нужно было хоть немного свѣта. Закрыть все — значило и самимъ остаться во мракѣ, ничего не видѣть... Нѣтъ, немного, щелочку оставить все-таки было нужно.

— Ничего, — успокоивалъ распорядитель, — все таки мы вполнѣ достаточно ослабимъ дѣйствіе свѣта!..

И щелочку оставили.

Въ залѣ наступилъ полумракъ, какой бываетъ въ темныя, зимнія сумерки. Глазъ съ трудомъ различалъ предметы. Ученые опять столпились въ кругъ и въ странномъ волненіи прислушивались. Сердце, казалось, продолжало биться все-также мѣрно и ровно. Но вотъ, оно какъ будто стало замирать...

Ученые притаили дыханіе...

Дѣйствительно, сердце начинало биться медленнѣе... Удары все рѣже и рѣже, Но вдругъ опять по-прежнему, даже скорѣе, и, затѣмъ, совсѣмъ тихо... — Это судорога! Порою совсѣмъ громко слышно: — жить! Порою — ничего не

слышно... Это несомнѣнно было судорожное бѣненіе, послѣднее издыханіе жизни...

— Жить! — раздалось вдругъ совсѣмъ громко, и ученые отскочили.

Сердце, казалось, хотѣло лопнуть или высочить изъ груди сильнымъ толчкомъ въ грудную стѣнку. Вѣроятно рефлекторно оно отозвалось на мышцахъ конечностей, потому что лошадь, безсознательная, мертвая лошадь, лягнулась.

— Плохо! — отозвался кто-то.

— Нѣтъ... нѣтъ! — отвѣтили ему голоса, — это сейчасъ-же кончится, это послѣднее усиленіе жизни!...

Но было не такъ. Сердце точно на зло продолжало биться, хотя и судорожно, то замирая, то громко и сильно, но все-таки билось, жило не умирало. Порою удары становились особенно сильными и тогда неподвижная, бездыханная лошадь какъ-то конвульсивно лягалась, судорожно двигала конечностями, точь въ точь, какъ гальванизированный трупъ. Видъ ея былъ тогда страшень, невыносимо страшень.

Проходили минуты, проходили часы... Мати то горѣли надеждой, то замирали съ отчаянія. А сердце все также, хотя и судорожно, съ остановками, продолжало стучать свое:

жить! и лошадь то лежала трупомъ, то корчилась въ конвульсіяхъ.

— Плохо! — отзывались голоса то тутъ, то тамъ.

— Ничуть! — твердо убѣждающе возразилъ распорядитель; организмъ, сверхъ чаянія, оказался слишкомъ живучъ. Выпустимъ ей немного крови и дѣло въ шляпѣ!

Опять воскресли надежды, опять всё оживилось, вздохнули легко и свободно... Вѣрно, вполне вѣрно, ларчикъ отерывается просто! Всё великія рѣшенія очень просты! Стоитъ только выпустить немного крови, каждая капля ея есть капля жизни! Кровопусканье, правда, вредно, вредно несомнѣнно, но не лѣчить же собрались они сюда клячу!

Длиннымъ тонкимъ ланцетомъ, которыхъ валялось такъ много, вскрыли несчастной вену и на полъ брызнула струя темно-алой крови. Кровь текла, а сердце все также стучало свое: жить, жить, жить!

Проклятое сердце!

Въ ученыхъ просыпалась одна ненависть, глухая, безграничная ненависть къ этому неумирающему сердцу, къ этой неподдающейся клячѣ. Ненависть начинала заглушать собою все остальное.

— Надавимъ слегка на сосуды, питающіе мозгъ, — кричалъ распорядитель, — разобцимъ

мозгъ и сердце, насколько возможно... Легче, осторожнѣе, чтобы не убить!..

Экспериментаторы выбивались изъ силъ...

Всѣ сосуды, казалось, были ими сжаты, всѣ главные сосуды... Но сердце продолжало стучать свое, а конвульси лошади росли, все росли. Она точно задыхаться стала.

— Легче, осторожнѣе, осторожнѣе! — кричала распорядитель.

Ничто не помогало, сердце продолжало жить! Приходилось отступить, признать себя побѣжденными, свое средство недѣйствительнымъ, или...

— Бросимъ! — сказалъ вдругъ одинъ изъ ученыхъ, — оставимъ!.. Средство наше негодно... Мы ошиблись... Бросимъ, оставимъ жизнь влячѣ! — и онъ поднялся.

Но другіе не соглашались. Эта живучесть сердца приводила ихъ просто въ бѣшенство. Все, все и разбитыя надежды, и пропавшій задаромъ трудъ, и бессонныя ночи, и непріятныя послѣдствія неудачи, которыя еще были впереди, все, все, кажется, требовало мести, все побуждало, тянуло идти до конца, такъ или иначе поставить на своемъ. Отступить? — ни за что! Во что бы то ни стало, они совладаютъ съ этимъ непокорствомъ, они заставятъ замолкнуть это ничтожное, но не-

угомонное сердце, — будь что будеть! Хоть земля провались! Кляча? что для нихъ эта кляча!

— Употребимъ всѣ средства, — командовать, не помня себя, распорядитель, — все... все... Постараемся разстроить взаимодѣйствіе всѣхъ органовъ, внесемъ рознь, изолируемъ сердце. Для каждаго органа есть свои спеціальныя яды. Давайте!

На дворѣ стояла глубокая, темная ночь и ученымъ волей неволей пришлось зажечь лампу. Шкафъ съ ядами былъ открытъ настезь.

Свѣтало. Розовые лучи просыпавшагося за стѣнами солнца ворвались въ залу и окрасили бѣлыя стѣны. Приближалось время, когда ученымъ придется возвѣстить результаты своихъ опытовъ. Они были въ отчаяніи... Стыдъ, страхъ, злоба, попеременно и вмѣстѣ, давили, туманили мозгъ, заставляли бросаться отъ одного крайняго средства къ другому... Всю ночь напролетъ провозились они съ своими экспериментами, не помня себя отъ усталости и злобы. Ядъ смѣняли ядомъ. Они вливали его въ ротъ, впускали въ кровь, подносили для вдыханія. Все почти было уже испробовано... Желудокъ былъ парализованъ, мозгъ начиналъ атрофироваться, но сердце, маленькое сердце все-таки стучало и стучало свое: жить! жить! жить! Они ломали въ отчаяніи руки. Яду, яду, новаго яду!

И вдругъ сердце стало, замолкло...

Наконецъ-то! Но прежде, чѣмъ такое восклицаніе восторга могло вырваться изъ ихъ задыхавшихся грудей, сквозь плотно сжатые бѣшенствомъ зубы, прежде даже, чѣмъ сознание успѣха перешло въ жгучую, острую радость, совершилось нѣчто ужасное. Все тѣло несчастной лошади, пропитанное ядами, лопнуло и распалось на части. Внутренности вывалились наружу, наполнивъ залъ клубами смертельныхъ мѣзмовъ...

Когда, съ наступившимъ днемъ, любопытные заглянули въ залъ, ихъ глазамъ представилась одна картина смерти и разрушенія. Такъ закончилась эта дерзкая попытка покорить, обуздать непобѣдимую жизнь...



О Г Л А В Л Е Н И Е.

	<i>Стр.</i>
Первый Гонораръ (разсказъ)	3
Боевая ночь (разсказъ)	41
Черная неблагодарность (повѣсть)	70
Изъ любви (разсказъ).	185
Хроника одного дня (картинка)	213
Новое средство (старая сказка)	239

Цѣна 1 руб. 50 коп.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Силуэты. (Повѣсти и рассказы) большой томъ.

Ц. 2 руб.

Жидъ. Этюдъ. 2 изданіе. Ц. 40 коп.

Бѣлая Панна (поэма въ прозѣ) изд. А. Карцева.
1889 г. Цѣна 75 к.

По бѣлу свѣту. Изд. А. А. Карцева. 1889 г.
Ц. 1 р. 50 к.

Повѣсти и рассказы. 2-е изд. А. А. Карцева.
1889 г. Ц. 1 р. 50 к.





